

## *Часть третья*

А.В. Леденева

Понять происходящее как оно есть

*— Алена Валерьевна, вы довольно долгое время живете и работаете в Лондоне, уехав из новосибирского академгородка, и по-прежнему занимаетесь социологией. В чем изменились за эти годы ваш подход к рассмотрению российских реалий да и само видение социологии (а они наверняка изменились)? Что приобретает и что, возможно, утрачивает ученый, смотря на объект своего изучения уже несколько со стороны?*

— Начну, наверное, с самого простого, расскажу немного о себе, с новосибирских времен, вернее, со времен Инны Владимировны Рывкиной (в среде социологов ее хорошо знают). Люди склонны приписывать себе разные формативные влияния. Должна сказать, что вот я — человек Рывкиной. То, как Инна Владимировна преподавала, как она проводила исследования, строила свой рабочий день, — во многом репродуцируется в моей жизни. Причем я это обнаруживаю в себе без всякого стремления ей подражать. Каким-то образом передалось... Я начинала со стратификационных исследований (мой диплом был написан по стратификации сельского населения Новосибирской области и Алтайского края, 1986 год). Это было интересно и шло вразрез с официальной идеологией: нельзя было отыскивать различия в том, что должно было быть гомогенным. Забавно, что впоследствии сам принцип "нельзя, но можно" станет предметом моего изучения. В сибирском Институте экономики и организации промышленного производства имелся огромный массив данных, который я перекодировала, пытаюсь найти как раз в однородном элементы стратификации. Использовались математические методы. Считали на перфокартах, — да, тогда еще на перфокартах — и работалось, на-

до сказать, хорошо. Ну а потом начинается "великий отъезд": в советники к Горбачеву уезжает Татьяна Ивановна Заславская, которую мы все очень любили и с именем которой в значительной мере ассоциировалось все то, что тогда представляла из себя социология. За ней уезжают Инна Владимировна, Людмила Александровна Хахулина и многие другие значимые для меня люди. Достаточно быстро уезжаю и я. Но не в Москву, а в Кембридж. А получилось это так.

Теодор Шанин, — которого я не могу не упомянуть, если мы говорим о формативных влияниях, — при поддержке Джорджа Сороса организовал три социологические школы для молодых советских социологов. Во вторую из них, в 1990 году, попадаю я. В университете Кента для аудитории из двадцати человек выступали самые известные в социологии люди, представляющие достаточно разнообразный спектр британской социальной мысли. Для меня это был в каком-то смысле шок — я не узнавала социологии, какой ее знала: эмпирической, с опорой на математические методы (шок, усиленный еще и тем, что живешь в Сибири, иностранцев не видишь, иностранной речи не слышишь)... Так фактически сложилась идея поучиться еще. Опять при поддержке Сороса в 1991 году получаю стипендию и еду делать магистерский диплом по социально-политической теории в Кембридж, в наименее по тем временам эмпирическое место. Моим научным руководителем становится теоретик Энтони Гидденс — можно сказать, уникальная возможность посмотреть на дисциплину с другой стороны и поработать над преодолением своего "черно-белого" подхода, за который нас частенько критиковали в Кенте. Сказать откровенно, было трудно, но, видимо, продуктивно в том плане, что меня рекомендовали на PhD (наш аналог — докторантура), всячески поддержали и дали стипендию. В результате я оказываюсь в ситуации, когда мне за два года нужно написать докторский текст по теме моего выбора. И тогда первый раз встает вопрос: если у тебя есть стипендия и кембриджская библиотека, и потрясающее окружение, то на что, на какие социальные идеи можно это потратить? Вот когда тебе дано все? Это был 1993-й год. На тот момент мне казалось важным просто запечатлеть новое в постсоветском

наполнении развития и найти такой угол зрения, под которым ситуация России начала 1990-х увидится необычным образом.

— *Каким именно?*

— В начале 1990-х годов было понятно, что старое уходит, новое приходит и нужны идеи, дающие представление о том, каково это новое. И было очень много попыток заимствовать идеи, уже существовавшие на Западе, чтобы описывать происходящее в России. Перенос понятий "демократия, социальный капитал, гражданское общество" привел к тому, что желаемое выдавали за действительное (точнее сказать, действительное описывали желательным), фактически в прежнем телеологическом паттерне "коммунизм — равенство — братство". Мне же хотелось передать ощущение того момента, постараться понять происходящее как оно есть, "здесь и сейчас". Смотреть на процессы, не заимствуя категории у Запада. Не пытаться концептуализировать, а взглянуть на самый микроуровень перемен, чтобы понять, насколько фундаментальны перемены в постсоветском обществе. Когда мы начинаем по-другому вести себя в повседневной жизни — вот оно, глобальное изменение. Революция в общественной гигиене складывается из изменений рутины каждого; скажем, когда люди начинают принимать душ каждый день, эта повседневная микропрактика транслируется на макроуровень и производит фундаментальный сдвиг в состоянии здоровья общества. Таким образом, мой вопрос на тот момент сформулировался так: найти изменения на микроуровне и понять, на какой фундаментальный сдвиг они завязаны. Микропрактики можно отследить эмпирически (а я эмпирического склада человек).

То обстоятельство, что я провела год в Англии, оказалось очень важным не только в смысле концептуализации идеи. Год по тем временам был потрясающим количеством времени. Ты возвращаешься, фиксируешь новые слова или "игры слов" (в терминологии Витгенштейна) и за ними видишь те "игры дел" или формы жизни, которые не существовали в советское время. Помимо языка, можно отсле-

дить трансформацию форм обмена или использования времени, также характеризующих "повседневность".

В 1970-х Пьер Бурдьё стал прилагать антропологический метод, используемый им в Алжире, для изучения парижской Академии, французской аристократии и т. д. Вот я подумала: интересно, а если таким же способом посмотреть на трансформацию в России? Что получится? Когда я показала план изучения паттернов языка, обмена и времени в постсоветском контексте Энтони Гидденсу, он сказал: "Тут три диссертации, выбирай что-то одно". Я выбрала обмен и со временем обнаружила, что "блат" — это интересная, достаточно не изученная и в чем-то парадоксальная тема. При том что блат был везде и мы все про него знали, в литературе и письменных источниках о блате нашлось совсем немного. Так, новым оказалось старое, широко распространенное и совершенно повседневное. Когда я приходила к людям брать интервью и объясняла, чем занимаюсь, у многих это вызывало недоумение. Помню, когда первый раз вернулась после Кембриджа и сказала Инне Владимировне, что диссертация у меня будет о "блате и практиках", она меня чуть из дома не выгнала — ненаучная какая-то тема... А для меня это исследование оказалось формативным. Я думаю, на определенного рода темы трудно выходить без маргинальности, потому что важно вырваться из контекста, отстраниться от него, чтобы потом увидеть то же самое другими глазами. Смена перспективы выдвигает фоновые практики на передний план, тем самым задвигая то, что было на нем до этого. Выход на фоновые практики позволяет глубже оценивать идущие процессы. Например, блат можно рассматривать как компенсаторную практику жестко централизованной системы, как своеобразный индикатор эффективности плановой системы: несовершенство планового распределения ресурсов, централизованного управления из Москвы компенсировалось практиками неформальными, включая толкачество в индустрии, блат в сфере личного потребления, патронаж и клиентелизм в иерархических структурах. Сейчас, конечно, уже многие занимаются теневыми практиками и никого это больше не удивляет.

— *То есть вы считаете, что блат — не только экономическое явление, но и некая компенсация, скажем, недостатка властных полномочий?*

— Я не считаю, что блат — экономическое явление. Это форма человеческих отношений, форма обмена, которая, будучи включенной в экономическую и политическую систему, при каковой мы все жили, явилась альтернативной формой обмена, обслуживающей много социальных и экономических функций. Если хотите, блат — это альтернативная социальная валюта, то есть обмен услугами, которые я называю "услугами доступа". Вы ведь не просто кредитовали кого-то из своего кармана или, так сказать, делились с соседом, а помогали соседу получить доступ к тому, к чему сами имели доступ по должности, распоряжаясь, по сути, тем, что вам не принадлежало. Интересно, конечно, проследить трансформацию этой формы взаимодействия в постсоветское время, поскольку все теневые практики, как их у нас называют, являются индикаторами системы. Не бывает формальной и неформальной экономики — они сосуществуют, и если мы исследуем что-то в неформальной сфере, то результаты нам говорят о том, какие дырки закрываются в формальной экономике и как она функционирует. Можно сколько угодно говорить о реформировании России, об удивительных сдвигах в смысле продвижения к демократии. Но когда я смотрю на свои любимые темы — неформальные практики, использование личных сетей и альтернативные валюты обмена — на динамику дискурса и форм жизни, иллюстрирующие отношение ко времени, я вижу, что изменения в системе происходят гораздо медленнее, чем того хотелось бы. Многие тексты об институтах демократии, о гражданском обществе, политических партиях, связанные больше даже с политологией, чем с социологией, мне кажется, забегают вперед.

— *Вы акцентируете внимание на слове "блат", а не есть ли это, по сути, та же коррупция, о которой сейчас так много говорят и которую стремятся объяснить, изучить, побороть? Вы сознательно разделяете эти термины?*

— Для меня "коррупция" — один из чересчур всеобъемлющих, но конкретно ничего не означающих терминов, которые употреблять бесполезно (как и слово "глобализация"), по крайней мере в перспективе практик. Вместе с тем я читаю лекционный курс "Коррупция в мире: причины, последствия и контроль". Студенты ведут мониторинг коррупционной ситуации в выбранных ими странах и составляют аналитические отчеты. Что интересно: феномен коррупции универсален для человеческого рода. Но формы его конкретного воплощения могут различаться. Вот у нас есть блат, а у них — "old-boy-network", разновидность корпоративной этики или неформального обмена между людьми, которые ходили в одну и ту же привилегированную школу, а потом доросли до больших должностей. Я как раз сейчас собираю аналоги таких практик по разным странам мира — как они звучат в языке, как человек относится к ним, — и чем больше присматриваешься, тем очевиднее осознаешь эту универсальность. И в данном смысле указывать на Россию как на страну, где коррупция особенно распространена или где утвердился своеобразный национальный характер, побуждающий к коррупции, мне кажется, неправильно. Отнюдь не это определяет специфику России.

— *Как вы охарактеризовали бы российские реалии на фоне тенденций мирового развития? Вы не склонны считать, как некоторые ваши коллеги-ученые, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации?*

— В практической парадигме происходящее в постсоветское время не имеет особой значимости, потому что фундаментальные формы социальных отношений не изменились. Универсальные паттерны (например, в отношениях индивид — власть) остаются такими, какими и были. И на фоне этих базовых паттернов можно видеть лишь какие-то конкретные, частные перемены. Да, были перетряски, когда личные сети в 90-х годах очень сильно перетряхнуло. Произошло расслоение на бедных и богатых. Какие-то сети сжалась, какие-то, наоборот, расширились; одни захлопнулись, другие стали более открытыми. Вот

эти вещи произошли. Но паттерн неизбежного использования неформальных сетей, для того чтобы достигать успеха, карьеры, чтобы жить более комфортабельно, сохранился. То есть опять повторю: изменилось наполнение, но паттерн тот же самый. Изменится ли он в качественном смысле? Надеюсь, что изменится, и здесь более всего важен экономический рост. Будет экономический рост — все будет нормально. Другое дело, как его достичь.

— *У вас это под знаком вопроса или есть уверенность, что рост непременно произойдет?*

— Под знаком вопроса. Если смотреть на тенденцию развития России до революции 1917 года и Первой мировой войны, то она была правильной, и в этом смысле, если думать в терминах возврата, ну, как бы к нормальному состоянию, то должно быть все нормально. 1917 год всегда считался водоразделом, то есть началом новой советской эпохи, устремленной в коммунизм, в светлое будущее. Поэтому, как шутят историки, каждый день 1917 года изучен настолько, что и скучно и грустно. Сейчас, в связи с распадом Советского Союза, 1917 год "задвигается", а на передний план выдвигается иной формативный период. Если для анализа зарождения революции очень большое внимание уделялось распаду монархии, сейчас в аналогичной ситуации оказывается эпоха "брежневизма". Ведь именно в брежневское время сложились тенденции, приведшие к распаду, о чем так настойчиво в свое время пытались говорить Абель Аганбегян и другие экономисты. Сейчас этим тенденциям придается эпохальное значение, то есть они "въезжают в фокус". "Брежневизм" часто воспринимался как период, когда ничего особенного не происходило, просто застой, хотя теперь-то мы понимаем значимость отсутствия событийности. Так отсутствие событийности становится событием, то есть событийность конституируется герменевтически. На Западе появляется много публикаций про брежневское время. Опять попытка понять, что именно этот период привнес в российское развитие.

Процесс модернизации можно рассматривать по-разному. Существует громадная литература о модернизации и о

том, как она связана с революциями в коммуникациях, в росте населения, в технологиях и с другими факторами глобализации. Иными словами, на мир как бы наезжает этот массовый процесс. Но мне опять же интересно взглянуть на него в перспективе локальных практик, на микроуровне. Смотришь на постсоветскую трансформацию и видишь, что локальные практики действуют как фильтры и пока что препятствуют интеграции России в "глобальную" среду. Понятно, что происходит столкновение процесса, которому часто приписывают необратимость, и вот этих местных, повседневных практик.

— *Сохраняется ли интерес к России?*

— В ситуации "холодной войны", в биполярном мире советская империя являлась одним из его полюсов. Трудно было говорить о глобализации в полном смысле, потому что существовал "железный занавес", и, если посмотреть с американской точки зрения, Советский Союз был врагом номер один. Интерес к России подпитывался этой полярностью, "русские центры" имели сильную идеологическую направленность, существовали специальные правительственные финансовые программы, потому что нужно было знать своего врага. Но когда Россия перестала им быть, когда глобализация как бы настигает и эту часть мира, — естественно, специального финансирования и особого интереса к России уже нет. С приходом администрации Буша была предпринята попытка относиться к России в соответствии с размером ее съезжившейся экономики, но появление нового (и общего) врага номер один после 11 сентября 2001 года поправило ситуацию для России. Логика "знай врага" заметна в определении приоритетов финансирования. Сначала угрозой был Советский Союз. Когда угроза коммунизма исчезла с лица земли, место врага номер один заняла коррупция и организованная преступность. В 1990-х материалы о коррупции захлестнули мировую прессу, 1995-й год объявляется "годом коррупции", создается много некоммерческих организаций для борьбы с ней. Финансирование Мирового банка, бесконечные отчеты об исследованиях коррупции в России.

Сейчас это все схлынуло. Сейчас враг номер один — терроризм. Программы, связанные с терроризмом, специалисты по Ближнему Востоку выходят на первые позиции. И если мы говорим о новых идеях и о том, куда идти, то нужно смотреть вперед — кто будет следующим врагом номер один? Очень большую роль сейчас на Западе приписывают религии, социальным и этическим проблемам, связанным с биотехнологиями, экологии. Думаю, и в России это тоже присутствует.

С точки зрения российских реалий, мне кажется, важно в общем виде отметить как тенденцию то, что Россия перестает быть уникальной. Не только в том смысле, что интерес к ней пропадает и финансирование уходит. Но и в смысле практик: Россия вписана в мир гораздо лучше. Действует ряд факторов: чисто экономические, международные (скажем, международные стандарты отчетности, международная интеграция на экономическом уровне). Россия стала членом "Большой восьмерки", рассматривается ее членство в ОЭСР (Европейской организации развития и сотрудничества), во Всемирной торговой организации. Россию убрали из различных "черных списков". Все эти вещи обсуждаются, есть определенный сдвиг, по крайней мере, в дискурсе. Меня как исследователя это меньше интересует. Но вот и на микроуровне, могу сказать, все же идут перемены. В Лондоне русскую речь слышишь везде. Люди путешествуют. Туризм стал повседневной практикой для многих, круг выезжающих по делам и отдыхать за границу увеличивается. Кажется, люди стали жить лучше и богаче в смысле ощущений, они все больше включаются в мировое сообщество. И таким образом процесс "вписывания" России в более-менее универсальные мировые практики нарастает. Россия как бы разворачивается лицом к миру, потому что люди хотят больше узнать, больше увидеть, больше попробовать.

Еще одна очень важная форма интеграции — это, конечно, образование за рубежом. Опять же то, что мне видно из Англии: очень много русских детей в английских школах и университетах, особенно на экономических специальностях. И дело не только в их количестве, но и в качестве. Школы необычайно заинтересованы в том, чтобы

взять наших детей, потому что наши дети "делают им статистику", они очень быстро адаптируются и показывают потрясающие результаты. Тут, видимо, сказывается родительское влияние: большинство родителей понимает, что надо вкладывать в то, что называется "человеческим капиталом". В России образование считается огромной ценностью, это важно, этим стоит гордиться. Где-то в начале 1990-х, буквально на несколько лет, это было несколько утрачено, но сейчас вернулось, и очень важно это сохранить. В таком контексте особенно горько слышать про коррупцию в образовательной сфере в России. Ведь коррупция коррупции рознь: одно дело, когда ты оплачиваешь услугу, не подрывая качества этой услуги, скажем, ускоряя проведение операции, и совсем другое дело, когда хирург получает свою специальность, оплачивая экзамены, зачеты, дипломы. В первом варианте нарушаются принципы справедливости, в последнем — подрываются компетентность молодого поколения и потенциал страны. Получится так, что те, кто идет на смену нашим ученым, инженерам, докторам, будут купленными, вернее говоря, проплаченными специалистами. Это огромный ущерб человеческому, социальному капиталу России, что очень опасно. Гораздо опаснее, чем так называемая бизнес-коррупция. Правда, согласно исследованиям фонда "Информация для демократии" Георгия Сатарова, бизнес-коррупция доминирует (90 процентов), и только 10 процентов составляет "повседневная" коррупция. Образовательная сфера, на мой взгляд, здесь ключевая. То есть, если коррупция в образовании станет систематической, это создаст пропасть, в которую все и обрушится.

Наконец, еще один момент в контексте вписанности России в мировое сообщество. Тут, видимо, немалую роль сыграет объединение Европы, включение восточноевропейских стран в Европейский союз. Ситуация может сложиться по-разному, и не исключено, что чем больше будет объединена, интегрирована Европа, тем более изолированной окажется Россия, противопоставляя себя такому союзу. Ведь несмотря на все переговоры, Россия пока остается аутсайдером большинства мировых "клубов". Хочется надеяться, что такой изоляции не произойдет и что Россия

каким-то образом найдет свое место в новой Европе. Посмотрите хотя бы на изменения в дискурсе, которые симптоматичны, указывая на изменения в микропрактиках. Скажем, сейчас уже не говорят "за бугром", потому что "бугра" в общем-то нет. "За рубежом" тоже уже меньше употребляется. Говорят все чаще "за границей", что логично, потому что границы никуда не денутся. А в принципе, в отношении подвижек в сторону Европы (уже не на уровне микропрактик, а на уровне глобальном) важна международная политика в смысле протекционизма, в смысле торговых квот, в смысле отношений между лидерами... Мне кажется, российская власть сделает то, что в интересах России. И если это подразумевает, скажем, некий экономический протекционизм, не нужно думать, что Россия — единственная страна, которая прибегает к подобным мерам. Мы уже пытались пойти, что называется, путем "нового мышления" и сыграть в открытую. Можно сказать, что в политическом смысле это было оправдано, а можно сказать, что та потеря статуса России в экономической сфере, которая произошла по факту, явилась результатом такой политики. Потому каждая страна соблюдает свой интерес и осторожно идет на компромиссы, стоит только последить за переговорами членов Европейского союза.

Однако тут вопрос не только компромисса или противостояния — вопрос еще и в том, что многие проблемы глобального уровня не имеют решения. Вышла книга вице-президента Мирового банка Жана-Франсуа Ришара (Jean-François Rischard, High Noon: 20 Global Problems, 20 Years to solve them), где он формулирует двадцать проблем, которые необходимо решить в следующие двадцать лет, иначе мир вообще перестанет существовать. Это проблемы, связанные со всемирным потеплением, биосредой и экологической системой, с вымиранием морской фауны и флоры, дефицитом воды в мире, проблемы болезней и бедности, этнических войн... Как утверждает автор, сейчас есть всего четыре способа воздействовать на данные сферы: договоры и конвенции; конференции ООН; группы таких стран, как "Восьмерка", "Двадцатка"; и наконец, 45 международных организаций типа Международного валютного фонда, Мирового банка, Института Мирового банка и т. д.

— *Вопрос, видимо, не только в том, что таких инструментов мало, но и в том, насколько они действенны. События вокруг Ирака достаточно наглядно показали, чего стоят, например, резолюции ООН — самой, казалось бы, авторитетной международной организации. Разочарование сильно.*

— Книга, о которой я говорю, как раз и посвящена тому, насколько недейственны эти четыре механизма принятия решений на наднациональном уровне. Автор раскрывает конкретные причины — почему не работает конференция ООН, почему соглашения и конвенции не внедряются в практику, почему вот эти наднациональные структуры вообще не в состоянии решать те самые проблемы. Автор предлагает путь сетевых решений (networks solutions), что очень близко к моей исследовательской позиции. Если проблемы слишком объемны либо слишком малы, для того чтобы их решали формальные институты, каковыми являются международные организации и соглашения, то тут начинают играть ключевую роль неформальные институты. Предлагается создать глобальные сети, которые будут адресованы этим конкретным проблемам. Идея интересна тем, что сети будут неформальными и объединят тех людей, у которых есть и экспертиза, и власть. Понятно, что для существования таких неформальных сетей нужно финансирование...

— *Предположим, будут найдены и источники финансирования, и решения. А вот мы же, к примеру, скажем: "У нас свои условия, особый путь, мы будем все делать по-другому". И что?*

— Вот поэтому, говорит автор, в эти сети должны входить люди, принимающие решения на национальном уровне. И поскольку они станут частью неформальных сетей, они будут иначе воспринимать саму значимость проблем: одно дело, когда ты приехал подписать соглашение и видишь, что Соединенные Штаты не подписывают, и ты, соответственно, можешь тоже не подписывать; и совершенно другое дело, когда решение проблемы является твоей конк-

ретной задачей. Вы заметили новое явление в мире? Премьер-министры и президенты становятся моложе и моложе и, естественно, после своих двух избирательных сроков являются людьми, обладающими громадным потенциалом, личным влиянием, компетентностью. Они создают в мире как бы новую категорию влияния. И фактически глобальные проблемы как раз могут стать делом вот этих людей.

— *Уже существует Римский клуб, созданный примерно в тех же целях. И что меняется? Их рекомендации содержательны, благожелательны. А что далее? Поговорили, пообщались, разъехались. Не утверждает ли все это некую общественную необязательность?*

— Необязательность — да. Это как раз то, из-за чего автор книги критикует подобные соглашения и рекомендации. Его идея — как бы раздвигать эти сети, то есть не замыкать их только на бывших президентах и компетентных людях, но сделать неформальные сети проводником, транслятором необходимых изменений на уровень микропрактик. И примеры этого есть. Фактически очень многие вещи лежат на микроуровне, и многие рычаги управления — у нас с вами. Но чтобы нам их задействовать, нужно понять, каковы они. А чтобы мы это поняли, нужна та самая трансляция через неформальные сети.

— *А хотим ли мы это понять? — вот в чем вопрос. Часто говорят: "раньше было лучше". В чем? "Да нет, просто лучше". Люди все больше уходят в себя, в частную жизнь, все меньше интересуются политикой, теми же "рычагами управления", будущим страны. На уровне микропрактик это, наверное, самое заметное явление. Как вы его оцениваете?*

— На этот вопрос, наверное, нужно отвечать на нескольких уровнях. Если отвечать на уровне индивида, то тут действительно есть определенный сдвиг: в России люди хотят заниматься своими делами и не хотят никакой политики. Существует определенная усталость, связанная с



тем информационным шоком, который мы испытали в конце 80-90-х годах. Все перипетии перестройки и постсоветского периода, "грязная" политика и компромат подорвали нашу способность верить и интересоваться политикой. Вполне естественно, что на уровне индивида произошло замыкание на повседневную жизнь. Но мне кажется, что это неплохо. Появляется возможность достичь успеха именно в данной среде, что хорошо содействует росту экономики и вообще развитию жизни. А в долгосрочной перспективе, я думаю, у людей, которые добиваются в этом смысле успеха, все равно наступит момент осознания — для чего это все было? Элементарный ответ — для своих детей, ведь когда мы живем для семьи, для себя и детей — это и есть устремленность в будущее. Но есть еще один интересный, можно сказать, системный аспект ответа на тот же самый вопрос об уходе в частную жизнь, если посмотреть на мировоззрение "для себя и семьи" в историческом цикле. Идеологическое и культурное однообразие сменяется ситуацией культурно-ценностного релятивизма. Если в одном цикле люди уходят в свои семейные, материалистические ниши, то в следующем цикле их дети, особенно при экономическом достатке, часто испытывают потребность в духовных ценностях и идеалах (по крайней мере, таковы выводы Ингльхарта). Мне кажется, что мы все равно придем к тому, что для следующего поколения (или через поколение) вопрос идеалов возникнет опять. Культурная релятивность как среда уже будет приниматься настолько естественно, что захочется некой направленности. Каждый период истории характеризуется фазой цикла: либо культурной релятивности, либо материальной озабоченности, либо некоего взрыва в социальных отношениях. В каждом обществе новое поколение ищет свой взгляд, свой путь, и в этом смысле через несколько поколений возможна цикличность. Может быть, и мы зайдем на такой круг.

— *Можно сказать, что в принципе в любом современном обществе циркулируют три крупных идеи, сменяющие друг друга: консервативная, либеральная и социалистическая?*

— Сейчас идут большие дебаты в мировой околополитической прессе по поводу того, имеют ли смысл понятия "левый" и "правый". Такое ощущение, что все три базовые концепции, которые вы назвали, сегодня пытаются адаптироваться к процессам глобализации, с одной стороны, и тенденции к центризму — с другой. В общих словах можно сказать, что консервативная идеология не может существовать без интеграции неких элементов социалистической доктрины (иначе не изберут). Аналогичная логика применима и по отношению к лейбористам и либералам. По крайней мере, в контексте Великобритании мы видим, что платформы партий перестают радикально отличаться друг от друга. В партийной риторике их пытаются разводить, а аналитики отмечают подмену партийной политики так называемой маркетинговой демократией. Если раньше политик вел за собой массы, формулировал программу или социальную доктрину, то есть предлагал идею, за которую проголосует население, то сейчас идеи для политического лидера формулируются на основе фокус-групп и разного рода тестирования электората, по результатам которых выстраивается политический имидж кандидата, привлекательный для голосующих. Идет подстраивание политической программы под типы избирателя. Если раньше демократические процедуры строились на предположении, что избиратель — носитель сознательного выбора определенной политической платформы, то в современном контексте избирателю такой роли не отводится. Наоборот, проектируются его иррациональные реакции на политический продукт. Снимаются психологические предпочтения, проводится тестирование, изучаются стереотипы различных групп электората и, соответственно, организуется маркетинг политических продуктов. Можно, конечно, называть это манипуляцией электоратом в очень изысканной форме...

— *В этой связи, а возможно и совершенно самостоятельно, хотелось бы задать вопрос, который тоже в последнее время довольно широко обсуждается: о "конце науки". Прежде всего социальной. В новых условиях обществоведение действительно изживает себя?*

— Мне кажется, о конце говорить невозможно. По моим представлениям, идея конца также вписана в "цикл" социальных идей, когда сегодня одни идеи выходят на передний план, а другие становятся фоном, и т. д. В этом смысле, когда центральной была идея революции, особую важность приобретала теория конфликта и его разрешения, в другие моменты истории на первый план выдвигались идеи консенсуса. Мы говорили выше о цикле духовных и материальных ценностей. Так же и в науке, пожалуй, хотя я бы рассматривала науку и обществоведение отдельно. В этом смысле следует согласиться с существующим английским делением на научные (точные) и академические (социальные и гуманитарные) дисциплины. Академические дисциплины предполагают некоторую релятивность, однозначного предпочтения не отдается никакой отдельной парадигме в общественных науках, функционализм сосуществует с марксизмом, постмодернизмом и этнометодологией, с точки зрения которой теории бесполезны. Обществоведение можно представить себе как ромашку. В центре — большая буква "О", "общество", а каждый лепесток — парадигма изучения общества, но лишь одна из многих. Новые парадигмы (постмодернизм, скажем) пытаются закрыть аспекты, недоизученные в других парадигмах. Правда, сам термин "парадигма" сейчас мало используется в западном мире, считается, что парадигмы как бы "закрыты" по смыслу, а вот "перспективы" — открыты, потому принято чаще прибегать именно к этому термину. В то же время люди, стремящиеся к единству представлений об обществе, могут "сесть" в определенный "лепесток" и работать там, имея возможность видеть, что существует некая парадигма. Я думаю, это может означать конец науки для тех людей, для которых наука должна конституировать единственно правильное объективное представление. Для них, если все распадается на "ромашки", — это конец. Но не для меня, например. Для меня важны, повторю, маргинальность и междисциплинарность — два слова, которые, как мне кажется, описывают мой подход; в том, что я стремлюсь делать, я открыта различным дисциплинарным перспективам. На уровне принятия решений также важно рассматривать тот

или иной аспект общества в разных перспективах, используя их для достижения определенных целей.

— *Вы не наблюдаете в Англии некоего разрыва между поколениями в научной среде? Или это только наша особенность?*

— По-моему, это зависит от области знания. В социальных науках, как мне кажется, отсутствует среднее звено. Ушли из жизни Гадамер, Бурдьё, Мертон, Козер. Мы сейчас действительно находимся на такой стадии, когда, с одной стороны, их идеи могут получить некое дополнительное развитие, потому что они становятся классиками и их трудам уделяется очень много внимания. С другой стороны, может произойти обратное, потому что теоретиков в социально-политической теории очень мало. Хочется верить, однако, что на самом деле они уже есть, просто нам нужны время и дистанция, чтобы их увидеть.

— *А какова, на ваш взгляд, сейчас основная функция науки?*

— Обслуживание финансовых интересов.

— *Любой общественной науки?*

— Фактически да, мне кажется. Но это же и всегда так было. Сейчас просто более прояснились финансовые источники. Они очень разные. Есть западные фонды, у них одна система приоритетов, они поддерживают совершенно определенную сетку проектов. Есть Российский государственный гуманитарный фонд, у которого другие приоритеты. Есть частное финансирование и спонсоры. Соответственно, и работа на заказ. Прагматично, но это связано с тем, что в ситуации социального перелома науке очень трудно выживать, приходится приспосабливаться к новым условиям. Должно пройти время, прежде чем наука выйдет на некие стабильные источники финансирования и академические профессии опять начнут опла-

чиваться обществом. Пока же и на Западе, и здесь стыдно признаться, что работаешь в университете. Престиж академии упал катастрофически. Зарплаты академиков (там всех сотрудников академической сферы называют академиками, а в Америке профессорами) — мизерны. Все меньше выпускников идет в академию, в докторантурах — в основном иностранные студенты. Многие ученые уходят либо вынуждены заниматься консультативными услугами или проектами со специальным финансированием (что возможно только в лучших университетах). А это опять же означает, что сфера твоей деятельности немножко программируется, фильтруется финансированием. Вот этот аспект науки очень усиливается. В общем, здесь нет ничего страшного, я думаю. Ведь наука — это сектор экономики, да?

— *Раньше говорилось: главная производительная сила...*

— Если статус науки подрастет и она начнет оплачиваться налогоплательщиками, через государство, через источники, которые не приватизированы, то тогда она, может быть, и не станет менее зависимой от обслуживания финансовых интересов, но финансовые интересы будут другие. При этом, я думаю, в науке весьма важна роль личности. Такие люди, как Гадамер или Мертон, все равно стали бы ими при любом раскладе. Если мы говорим о каком-то прорыве в науке — теоретическом, эмпирическом, — все равно в центре его человек, который не удовлетворится прагматическими соображениями и будет "прорываться" в силу ли своей маргинальности, в силу ли своего видения дисциплины или ее ограничений. Фактически такого рода прорыв всегда происходит через сильную книгу, через сильный текст. В последнее время, на мой взгляд, они появляются. Может быть, их пока трудно выделить, потому что нет определяющей дистанции (в чем, по моему мнению, сложность и вашего проекта). То, что ясно видно сегодня и образует некий шум в прессе, на телевидении, связано на Западе с популяризацией науки. Потому, если описывать тренд, я бы говорила не о конце науки, а о ее

популяризации. О науке, которая приходит в таком вот упакованном виде.

— *Если говорить о вашем собственном будущем в науке, с чем вы его связываете?*

— Меня спрашивают иногда: "Что ты там делаешь, на Западе? Почему бы тебе не учить наших студентов, у тебя бы даже лучше получилось. И тут ты была бы полезнее". Ну, конечно, когда слышишь такое, задумываешься. Действительно, почему я работаю там, а объект моего изучения здесь? Можно, конечно, сказать, что для поддержания маргинальности, для отстраненности взгляда. Однако ведь взгляд может стать слишком отстраненным... Но на самом деле, когда я задумываюсь над этим серьезно, свою функцию, свою полезность я вижу в некой кросскультурной экспертизе. Я довольно хорошо ориентируюсь и в Англии, и в России, и в нескольких дисциплинарных дискурсах, что дает мне в каком-то смысле уникальную перспективу. И еще. Ведь можно ответить на вопрос коллег встречным вопросом: "Почему большинство региональных (азиатских, латиноамериканских и других) центров на Западе возглавляют выходцы из этих регионов, а в русских центрах даже и российских сотрудников мало? Значит ли это, что Россия хуже интегрирована в мировое академическое сообщество, или же это специфика социальных наук (физики, например, гораздо более успешны)? Так что если заглядывать в будущее, то, наверное, было бы логично возглавить центр по изучению России и ответить на поставленные вопросы собственным примером."

## М.В. Ремизов

### Мысль должна соучаствовать в процессе изменений

— Михаил Витальевич, недавно вы выпустили сборник своих публикаций, который объединили названием “Опыт консервативной критики”. Нас заинтересовала его центральная тема, он и строится соответственно: *Утопия новой России; Утопия новой Европы; Утопия нового мира. Роль утопии как двигателя социального развития? Идеалы, утверждают, исчезли, но утопии и теперь движут людьми в их действиях? Хотелось бы, чтобы вы развили здесь свои представления, попытались прояснить суть и противоречия утопии в современном мире. И прежде всего — что вы имеете в виду, говоря об утопии?*

— Попробую. И сначала — некое теоретическое введение. Вы сразу поставили вопрос об утопии как движущей силе социального развития. Собственно, таково наиболее обиходное критическое понятие утопии. Когда говорят “это утопия”, имеют в виду что-то отнесенное к гипотетическому будущему и что-то невозможное. Такое понятие в социальной философии выражено Карлом Мангеймом. Естественно, он не мог сказать как социолог знания, что утопия — нечто невозможное. Он говорил несколько другому: утопия — это то, что кажется невозможным представителям данного конкретного общественного порядка и что, при своем переходе в практику, взламывает существующие социальные структуры. *Идеалы*, о которых вы упомянули, могут быть вообще лишены такого практического запала. Например, возможна такая идеалистическая установка, которая лишь стабилизирует статус-кво. Сидит в каком-то своем гетто критик и порицает все существующее от имени идеала, но он вписан в сложившуюся систему самым способом своего пребывания в ней. Вот

Мангейм специально об этом говорит, замечая, что не всякая идеальная установка, которая противоречит сложившемуся порядку вещей, является утопической; утопическая лишь та, что действительно имеет практический взрывной запал, способна привести к серьезным системным трансформациям общественных отношений.

Должен сразу сказать, что понятие утопии, которое я взял за основу при структурировании книги, немного другое. Это понятие утопии, которое опирается не на расхожий критический штамп и теоретически восходит не к мангеймовскому определению, а, скорее, к определению, данному в небольшой заметке Карла Шмитта. Он пытается вернуться к этимологически наивному, первичному прочтению слова “утопия” (место, которого не существует, или, скажем так, отсутствие места) и говорит, что утопия — это не какой-то идеал, недоступный либо предполагаемый к реализации в будущем. Нет, не этим специфицировано понятие. Утопия — это способ мыслить общественный порядок, способ утверждать нормы в отрыве от связей пространства, в отрыве от связей конкретного места и времени. В этом смысле утопией, положим, можно считать классическую модель общественного договора. Понятно, что политические философы либерализма довольно быстро внесли пояснения-комментарии к Гоббсу, к Локку: мы вовсе не утверждаем, что когда-то в истории было такое состояние; мы предлагаем модель, которая позволит нам мыслить легитимность общественного порядка. Но эта модель такова, что легитимность общественного порядка, оправданность власти, принципы господства, принципы законности проектируются вне зависимости от локальной идентичности сообщества. Они проектируются как универсальные, вне связей пространства.

Вот такое понятие утопии представляется мне наиболее плодотворным именно для консервативной критики. Я сейчас оставляю за скобками вопрос, как шмиттовское понятие связано с мангеймовским. Вполне возможно, что утопия внепространственного мышления и является чем-то нереализуемым в чистом виде. Но у нас перед глазами пример страны, которая достаточно близка по своему генезису именно к типу утопического проектирования, — это Соеди-

ненные Штаты Америки. Рациональный “утопический” порядок, который учредили американские поселенцы — “общественный договор”, который они заключили, — логически *безграничен* как в пространстве, так и во времени. Он ограничен лишь фактически, но *граница* и сам факт его локализации носят как бы случайный характер. Они не несут собственной смысловой нагрузки в самосознании общества, в конструкциях его политической легитимности. И это естественно, ведь у поселенцев преобладало чисто “количественное” отношение к “новой” и “ничейной” земле. Эта земля ни о чем им не говорила, ничего им не предписывала, она могла быть такой, а могла быть другой. Именно потому она была очень хорошей площадкой для социального проектирования. Вот утопический сценарий создания государства.

— *Но который был реализован.*

— Совершенно верно. Любопытно сравнить в этом отношении спроектированное государство Соединенные Штаты Америки с другим, тоже спроектированным государством — Израилем. Тоже был, что называется, социальный конструктивизм. Когда сформировался и был сформулирован сионизм, эти люди не рассчитывали, что само собой, естественным образом где-то возрастет их государство. Была поставлена четкая задача, которую необходимо было выполнить и для выполнения которой воспользовались благоприятной внешнеполитической конъюнктурой. Но изначально в проект “государство Израиль” была заложена совершенно антиутопическая идея — они ехали именно на конкретную землю, связанную для них с каким-то священным преданием, а разговор о том, какой общественный порядок они там установят, был заведомо вторичным. Таким образом, изначально проект этого государства мыслился в контексте его связанности с определенным пространством, определенной почвой.

Попросту говоря, утопия для меня в широком смысле слова — это беспочвенное, неукорененное политическое мышление. И в этом смысле — она везде. Утопические моменты присутствуют в социальных институтах, в тех ролевых играх, которые разыгрываются в политике, и т. д. Со-

циалистическое общество изначально двигалось силой веры в утопию — понятно, что коммунизм тоже в общем-то утопический идеал, причем в обоих смыслах. И в смысле того, что это установка, обращенная в будущее, которая взрывает существующие социальные отношения; и в смысле того, что это программа общественного порядка, принципиально не связанная с локальными особенностями тех или иных мест: коммунизм, предполагалось, может и должен быть установлен везде, где живут люди. Когда обрушилась советская система, возникла атмосфера колоссальной усталости от мобилизационных утопий, усталости от всего, что потребовало бы веры, самоотверженности как от элит, то есть инициаторов общественных движений, так и от масс, которые за ними следуют. Утопия в мангеймовском смысле была дискредитирована: не надо ничего, что способно взорвать, сломать сложившуюся кору отношений, сложившуюся социальную коросту. Но синдром утопического мышления вместе с той усталостью не был устранен. Он остался и более того — усилился. Почему? Потому что изначально идея, которая в том числе разрушала советское общество и советское государство, выражалась в словах: “Посмотрите, как люди живут на Западе”. Преимущества их жизни, достигнутое ими благополучие зиждутся на превосходстве реализуемой ими модели общественного порядка — демократии, и социальных отношений — рыночной модели. Если мы сейчас в сжатые сроки, волевым образом, скажем так, привнесем эти институты в наш социальный контекст, то получим схожие результаты. Ясно, что это действительно утопический способ мышления — мы мыслим общественное устройство вне связей пространства и времени, вне конкретного контекста его возникновения и локальной исторической традиции данного общества.

Мне могут возразить в этой связи: капитализм, собственно говоря, отличается от всех иных способов общественного устройства именно тем, что не требует от людей какой-то специальной веры и, соответственно, не порождает сопутствующей вере усталости. Ну, люди устают верить, ждать, могут разувериться. В этом действительно сила рыночных обществ. Но сама методология мышления, в соответствии с которой трансплантация институтов возмож-

на, — безусловно, утопическая. Мы привыкли считать, что уже сейчас живем в атмосфере деидеологизации. По крайней мере, если судить по публичной риторике власти, по конфигурации наличных общественных сил. В этой атмосфере выдвинут лозунг эффективности, который призван заменить идеологическое кредо. Понятно, что в общем-то это кредо, с которым пришел президент. Его спрашивают: “Какова национальная идея России?” И он отвечает: “Идея эффективной страны”. Это, казалось бы, подчеркнуто антиутопическое мышление содержит в себе колоссальный утопический ингредиент, а именно веру в ту аксиому, тот постулат, согласно которому эффективность может быть достигнута вне и помимо идеологической рефлексии о собственных основаниях, об основаниях того культурно-исторического, геокультурного пространства, где мы живем. В этом смысле сама технократия, идея технологии, самодовлеющей и универсально применимой, безусловно, утопична. Но кульминацией утопического мышления, словом, которое является просто концентратом утопизма, является слово “Запад” — не только для нас, но в общем-то для всего мира. Запад, взятый не как локальная цивилизация (в книге Шпенглера “Закат Европы” он, естественно, взят как локальная культура, которая подвержена точно таким же циклам, как и другие культуры), а Запад как общественный проект, обращенный ко всему миру и основанный на приоритете потребления и рыночных ценностей. Любопытно, что, основываясь на этом универсальном понятии, французские “новые правые” еще в 70-80-е годы выдвинули лозунг “Европа против Запада”. Здесь просто надо уяснить методологическую принципиальную разницу. Европа — исторически существующая культура, которая определяется именно своим культурным наследием, способами его трансляции. Тогда как Запад — это общественный проект, основанный на утопии неограниченного роста.

— *То есть новая дихотомия: Европа — Запад?*

— Да, совершенно верно. Дихотомия, которую пытаются артикулировать европейские, скажем так, патриоты или, говоря конкретнее, культурные фундаменталисты. В этом

смысле противоположной утопизму, чисто методологически, интеллектуальной стратегией для меня является фундаментализм. Это попытка мыслить и выстраивать общественный порядок исходя из того, что есть наше собственное, исходя из исторических корней и границ нашей идентичности, из воссоздания платформы, на которой мы развиваемся. На мой взгляд, критика утопического мышления — это попытка прояснить основания консерватизма в современной ситуации. Консерватизма как самостоятельной политической философии. Как философии, которая не сводится к стремлению сохранить в каждом случае статус-кво (есть такая сильная тенденция толкования консерватизма как стратегии удержания статус-кво). Если все же мыслить консерватизм как самостоятельную политическую философию, как политическую аксиологию — философию ценностей, отличную от либерализма, отличную от социализма, то мы неизбежно возвращаемся к тому “осевому времени”, когда произошло размежевание консерватизма с философией Просвещения. Консерватизм возникает, отталкиваясь от философии Просвещения, и ключевым пунктом, от которого он отталкивается, является политический универсализм Просвещения. Пытаясь оформить собственный стиль политического мышления, консерватизм становится жестким оппонентом политического универсализма.

— *Консерватизм для вас — это современный фундаментализм?*

— С научной точки зрения можно было бы сказать, что фундаментализм в том смысле, как я его сейчас пытаюсь воссоздать и как говорю о нем в книге, — одна из ветвей, одно из направлений консерватизма. Но для меня эти вещи тождественны. Что такое быть консерватором в современной России? Что мы должны консервировать? Достижения ельцинского режима либо останки советского режима? Либо воспоминания о царизме (тут уже только воспоминания)? Обычно этим попрекают всех, кто пытается играть в риторику консерватизма: “Вот вы консерватор. А что вы собрались консервировать?” Ответ, который, к сожалению, наиболее часто дается, положим, идеологами совре-

менного либерального консерватизма: все-таки консервировать статус-кво, чуть-чуть дотянув его до ранга приемлемой реальности. Потому что мы не можем консервировать уж совсем какое-то безвременье. Чтобы консервировать существующий порядок вещей, мы должны ощутить его как порядок, как систему, как закономерность.

— *То есть это, скорее, не консервирование чего-то, а некая попытка не дать бежать слишком быстро?*

— В общем-то вы правы, да. Это попытка играть в обществе модернизации роль такого тормоза, причем очень продуктивную с точки зрения данного общества роль, так как понятно, что некоторые радикалы хотят перепрыгнуть через стадии развития, двигаться слишком быстро, а при таких скоростных перегрузках машина может ломаться. Потому в современном обществе консерваторы статус-кво — это антирадикалы. Те, кто напоминает, что двигаться надо постепенно. Но рельсы, по которым идет паровоз, все равно прокладывают радикалы. Вот, на мой взгляд, парадокс консерватизма статус-кво в современном мире.

— *Не только в обществе переходного периода?*

— Я думаю, это касается не то чтобы всего мира, но всех обществ, для которых политическая культура современности является сколько-нибудь значительной, то есть которые пытаются мыслить себя в политической культуре современности. Исходя еще из Просвещения, Французской революции... А мы в эту игру очень серьезно включились благодаря коммунизму. Консерватизм фундаменталистского толка фактически является альтернативой консерватизму статус-кво. Он вступает в права в ситуации, где уже нет общепризнанной и непрерывной традиции, на которую можно было бы опереться. В этой ситуации уместно предпринимать своего рода “возобновление истоков”, то есть выстраивать дискурс, реконструирующий опорные моменты собственной традиции. Это будет, конечно же, стилизация национальной “самости”, но она жизненно необходима, для того чтобы сохранять целостность общества и вос-

производить его в мире. В нашем случае необходимо возобновление истоков и констант российского цивилизационного опыта. Следовательно, если говорить об актуальной задаче консервативно настроенных интеллектуалов — публицистов, социальных философов, социологов-теоретиков и особенно культурологов, — на мой взгляд, она состоит в том, чтобы произвести сейчас эту самосборку, реконструкцию, заложить прочные основания представления о России как локальной цивилизации.

— *Вы шли от этих теоретических посылок к практике или, наоборот, вас привела к ним практика?*

— Нет, безусловно не от теории к практике. Как раз одна из очень важных для меня методологических презумпций состоит в том, что всякая философия является прежде всего определенной философией действия, философией практики. Поэтому первичный момент — безусловная ангажированность, просто идущая из глубин какого-то социального инстинкта. Политическая ангажированность, которая рационализируется и обрастает философскими эшелонами защиты и инструментарием нападения тоже.

— *Иначе говоря, вы берете как предмет осмысления сегодняшнюю реальность и, притягивая свои философские знания, уже выходите к какой-то конструкции?*

— Нет, корректнее сказать немного по-другому. Первична в этом отношении, в отношении “политика — философия”, для меня, безусловно, политика; но политика, понятая не как ограниченная институциональная область, где происходит борьба за публичную власть, а как достаточно вездесущее пространство борьбы, в том числе за власть. Политика разворачивается в самых разных сферах, включая и сферу мышления. Иными словами, я не противопоставляю политику философии, для меня политика есть то, что структурирует саму философию. Не будем забывать, что и “сова Минервы”, философская птица, является хищной.

— *Политика — это всегда борьба?*

— Да, я склонен переживать политику через приоритет размежевания. Политика — для меня прежде всего размежевание, то есть само мышление есть процесс глубоко полемический. Мышление — это война. В пределе некоторые тексты я пишу просто как интеллектуальные погромы. Хотя это не всегда видно, потому что я остаюсь корректным. Но смысл всегда жестко полемический. В противном случае машина мышления, маховик мышления просто не раскручивается. Поэтому политический аффект для меня первичен, а философская рационализация — вторична. А почему я стал думать и говорить о консерватизме? Дело в том, что консерватизм неверно рассматривать как политическую программу, он не является таковой. Это стиль мышления, внутри которого могут формулироваться те или иные программы. И в качестве стиля мышления я бы противопоставил в данном случае либерализм консерватизму. Я шел от того, что все мои частные оценки, когда я пытаюсь отразить соединяющую их внутреннюю логику, приводили к критике либерализма как мировоззрения.

— *Вы говорите это, исходя из нашей практики или каких-то трудов либералов?*

— Что касается нашей практики, здесь совершенно особый случай. Положим, такой мыслитель, как Борис Капустин, с симпатией относится к классическому либерализму, но мы найдем мало столь жестких критиков либеральной практики российских реформаторов. Ну, псевдолиберальной, как он скажет. Наверное, практика, да — это первичный контекст, в котором мы живем. Конкретные политические оценки — первичный контекст. И уже от этого мы идем к философским методологиям. Но могу сказать, что, когда я пытаюсь мыслить, работать в этой системе понятий, конечно, я пытаюсь оспаривать либерализм как таковой. Не его искажения, не отходы от него, допущенные нашими реформаторами, а либерализм как таковой, в том числе как утопический способ мышления. Консерватизм же представляет собой иную методологию проектирования политических ценностей.

— *В чем ее плюсы?*

— Плюсы в общем-то связаны именно с тем, о чем я уже говорил: это мышление контекстуальное и это мышление почвенническое. Но мы видим: судьба современного консерватизма такова, что, будучи почвенническим, он одновременно вынужден быть конструктивистским. Другими словами, с одной стороны, мы постулируем, что есть какое-то наследие, которое принадлежит нам как членам данной культурно-исторической общности, как людям, рожденным в российской цивилизации. Факт такой принадлежности — первичный. Но он только ставит проблему — проблему проектирования и адаптации данного наследия к современности. В этой связи в ответ на ваш вопрос, отталкиваюсь ли я от конкретных обстоятельств, от событий либо от теоретических посылок, — должен сказать, что, наверное, тем мегасобытием, точкой отталкивания для меня и моих единомышленников, принадлежащих к моему поколению, является, конечно, крах Советского Союза, понятый как наше поражение в “холодной войне”. Что касается моих эмоциональных переживаний: 21 августа 1991 года стало ясно, что все, поражение страны окончательное и на ближайшие годы бесповоротное; крах ГКЧП — это роспуск Советского Союза.

— *Вот вы говорите: “мое поколение, те, которые близки мне”... Это кто? На какую референтную группу вы ориентируетесь, постоянна ли она? Для кого, интересно, вы пишете?*

— Те люди, о которых я могу говорить как о своих единомышленниках, совсем не обязательно те же люди, для которых я пишу. Ну а пишу я, скажем так, для экспертов в области обществоведения и политической философии, которые могут быть выходцами отчасти из околополитической, отчасти из научной среды. Ни для собственно политической или научной аудитории я, видимо, не совсем правильный и пригодный автор, потому что в первом случае не хватает конъюнктурной заостренности (если просто быть политическим журналистом, то весь философский инструментарий избыточен), а во втором, если быть научным автором, — лишним является политический темперамент. Референтную группу, я, естественно, четко не определяю — она есть



следствие наработанного стиля. Много ли тех, кто близок мне по мироощущению, по трактовке сегодняшних реалий? Думаю, мы сможем ответить на этот вопрос постфактум, положим, лет через десять, потому что важно не то, было ли их много, а то, значимое ли это поколенческое ядро. Если пытаться определить поколение, к которому я принадлежу, именно как историческую единицу (если оно состоит как историческая единица), то, на мой взгляд, тем вызовом, под знаком которого оно начинает себя осознавать и может выйти на сцену, является именно поражение страны в “холодной войне”. В некотором смысле — да, это поколение “детей поражения”. Знаете, у Павича есть очень хороший момент в романе “Последняя любовь в Константинополе”, где он как раз говорит о детях победителей и детях побежденных. И там есть замечательный афоризм: мир никогда не будет принадлежать сыну победителя. Когда я говорю о наследии поражения, я вижу в том залог определенной силы и шанс на успех, потому что в каждой следующей схватке дети проигравших хотят взять реванш. Дети проигравших, которые выросли в тоне мобилизационном, напряженном, которые изначально воспринимают мир драматично, сталкиваются с детьми победителей, растущими в ореоле достигнутого успеха и рискующими почивать на лаврах.

Кстати говоря, если сейчас попытаться воссоздать феноменологию позднего советского общества, то это, конечно, колоссальное почивание на лаврах. Когда я учился еще в начальной школе, то слышал всю эту риторику: “Люди принесли в жертву свои жизни в Великой Отечественной войне, чтобы мы могли жить так, как живем сейчас”. Все очень ценили эту героину, но с собой соотносили ее именно таким образом, что теперь вот можно хорошо жить в Стране Советов. То есть несколько такое успокоенное сознание. Если посмотреть с этой точки зрения, — а это, конечно, плохой социологический метод, но хороший способ мифологизации существующей ситуации, что нам и нужно (я, честно говоря, не верю в нейтральную социологию в условиях столь интенсивной общественной динамики, социология внутренне сращена с мифами), — так вот, если посмотреть на политическую среду сквозь эту призму, то мы увидим, что и в США, и у нас до сих пор у руля стоят поколения, которые

у них стали победителями, а у нас — проигравшими в одной “холодной войне”. Даже нынешние 45–50-летние, пусть они и не были у руля к концу 80-х, зачастую лично *вовлечены* в это событие поражения, они его соучастники.

— *Этому поколению вы противопоставляете свое?*

— Почему моя книга называется “Опыт консервативной критики”? Пока этому поколению мы противопоставляем только критику, потому что альтернативная поколенческая и социальная сила еще не оформилась. В ближайшие годы она будет становиться все более и более отчетливой. И, кстати, в этой связи интересно проанализировать изменения в восприятии советской эпохи. Постепенно наглядные представления о ней, носителями которых являются старшие поколения, уступают место мифическим. И это хорошо, потому что материалом для исторической идентичности является не фактография, а мифология. И очень важно понимать, что советский миф будет для нас не утопическим, а фундаменталистским, не коммунистическим, а консервативным. Он будет говорить нам не об универсальном общественном идеале, а о силе нашей исторической судьбы, о творческом развитии российской цивилизации.

Но здесь есть большой риск. Я говорю о “поколении реванша”, но обычно реваншизм — серьезный упрек в нашей политической риторике. Действительно упрек. И несмотря на то что я вполне принимаю реваншизм как совершенно нормальную социальную и эмоциональную установку, нужно очень четко оговориться, что речь ни в коем случае не идет и не может идти о сохранении, продлении логики “холодной войны”. Именно в нынешних условиях попытки мыслить категориями биполярности, включая попытку подать свою заявку на биполярность для России, были бы в корне неправильными и губительными, потому что именно сейчас, возможно, мы присутствуем при достаточно интересном кризисе цивилизации-гегемона — западной цивилизации. Я отнюдь не утверждаю, что этот кризис фатален, но его симптомы активно обсуждаются. Предположим, это очень тревожные книжки, которые пишут западные консерваторы (европейские, американские) о цветной мигра-

ции. Это, скажем так, достигшее исторического накала осознание угроз терроризма. Все это, на мой взгляд, не есть общемировые проблемы, а именно вызовы тем обществам, которые повязаны логикой западного проекта. Например, если мы возьмем наиболее обсуждаемую тему — тему террористических вызовов, корень опасности не в том, что существуют люди, готовые для реализации своих целей прибегнуть к террористическим методам. Корень в том, что эти люди уверены: прибегнув к таким методам, они будут услышаны. Кроме того, у них нет другого способа коммуникации, возможности поставить беспокоящие их вопросы в повестку дня современных массовых обществ. Иными словами, террор является следствием и функцией символического устройства современных массовых обществ западного типа, которые, с одной стороны, слишком могущественны технически, чтобы против них можно было бороться напрямую, с другой — крайне уязвимы, слабы перед лицом информационно-психологического воздействия.

— *Вы согласны с утверждением, что проблема терроризма — это проблема цивилизационного столкновения, западного (европейского, назовем это так) и исламского мира?*

— С одной существенной оговоркой: да, это конфликт цивилизаций, который является внутрицивилизационным фактором, что крайне важно и что характеризовало, кстати, отношения ислама и Европы, европейской цивилизации, давшей ответвление в Америку, с давних времен. Ислам в общем-то не выдерживал фронтальных, позиционных войн. И сейчас он не может их выдержать. Его стратегией является проникновение в поры цивилизации-гегемона, в том числе мировоззренческое. И в этом сила ислама. Принципиально важно зафиксировать, что разворачивающийся конфликт цивилизаций является именно внутрицивилизационным феноменом и что та угроза, которую представляют для Запада миграции, терроризм, — следствие внутреннего устройства западных обществ. Понятно, что сейчас неоконсерваторы попытаются максимально жестко озвучить эти угрозы и найти на них ответ. На каких путях он может быть найден? На

путях сворачивания просвещенческого универсализма. А если он будет свернут усилиями западных неоконсерваторов, то логически у них останется два варианта: либо, отказавшись от универсализма Просвещения, западная цивилизация должна будет признать себя локальной цивилизацией наряду с другими — и это было бы, конечно, существенным достижением, позволило бы и нам заняться собственным цивилизационным строительством; либо будет продолжаться мировая экспансия, но уже с позиции силы. Сейчас об этом много говорят в связи с ловушкой и кризисом легитимности международных действий Соединенных Штатов. Утверждают, что их политика перерастает в политику голой силы. Почему? Потому что та универсалистская риторика, которой всегда эта политика оперировала, которой она прикрывалась (нормально, когда универсализмом прикрываются какие-то партикулярные интересы), становится в данных конкретных случаях все менее убедительной и все более опасной. Например, проблема демократизации Ирака. Если ваша задача состояла в обеспечении гарантий прав человека в этой стране, в свержении диктаторского режима Хусейна, то, будьте любезны, предпримите широкую демократизацию Ирака. А предпринять это — значит получить гражданскую войну, приход исламских клерикалов к власти, широкое партизанское движение и т. д. Альтернатива — жесткие антипартизанские стратегии колониализма. Но этого не допускает внутриамериканский контекст. Вот на ту или на другую сторону им надо бы и встать. И в данной ситуации, когда возникает кризис легитимности и нарастают противоречия внутри цивилизации-гегемона, лучшее, на мой взгляд, что может сделать Россия — это оставлять их наедине с их проблемами. Иными словами, исповедовать стратегию умного изоляционизма.

О каком изоляционизме идет речь? Изоляционизм — это то, чем пугают, от чего отрекаются. Я же подразумеваю не отказ от рыночного сотрудничества, не отказ от координации действий с теми или иными центрами силы, не отказ от политики союзничества и поиска баланса в тех или иных вопросах с международными партнерами разного статуса. Ничего похожего. Я подразумеваю примерно то, что сжато в известной фразе: “Россия сосредоточивается”.

Обычно она понимается как оправдание просто отступления. В действительности эта фраза была сказана немного в другом контексте: Россия сбрасывает с себя те, скажем так, стратегические, союзнические обязательства, которые она набрала прежде. Это было сказано, в частности, в контексте отказа от политики Священного союза — политики, продиктованной универсалистскими доктринами. Умный изоляционизм в нашей ситуации, в ситуации конфликта цивилизаций (повторю: с оговоркой, что это конфликт цивилизаций как внутрицивилизационный феномен) — признание того, что Россия не является частью какой-либо из враждующих цивилизаций, но является самостоятельной цивилизационной платформой, которая должна быть консолидирована по своему периметру, по периметру СНГ.

По периметру СНГ — не значит “с присоединением” всей Средней Азии. Речь идет не о едином государстве, а о выстраивании эшелонов влияния и обороны. Это совершенно необходимо, потому что, естественно, объединить всех бывших граждан Советского Союза в рамках одного государства, в рамках общей концепции гражданства совершенно непродуктивно. Пришла пора делать градацию разных форм контроля над территорией, населением и т. д. Скажем так: это просто периферия, которая должна быть укреплена. Вот в общих чертах то, что я понимаю под имперским изоляционизмом. И, на мой взгляд, несмотря на то что эта стратегия имеет сугубо оборонительную форму, ее реализация потребовала бы от нашей политической культуры — и от политической культуры элиты, и от массовой политической культуры — достаточно серьезной жесткости и агрессивности. Принципиально важно учитывать соображение, которое все держат в уме: при достаточно слабом уровне освоенности пространств, при очень низкой демографической плотности, при демографическом росте Юга, при энергетическом кризисе Запада будет все сложнее удерживать суверенный контроль над территориями, недрами и т. д.

— *Традиционными способами?*

— В том, что касается категории суверенитета, традиционные способы, я думаю, самые правильные и простые.

Это — юрисдикция, пространственная монополия, контроль нации над пространством, гарантированный присутствием войск. И в ситуации демографического роста Юга и энергетического кризиса Запада жители вот этого российского субконтинента могли бы осознать то, что у них уже есть, а именно пространство, ландшафт, как своего рода сверхценность в современном мире. Принадлежащий нам субконтинент — это наш большой ковчег, пространство геостратегического спасения. У нас широта пространства (о чем хорошо пишет в своих работах А. Филиппов) является внутренним аспектом идентичности, даже внутренней формой исторического сознания русских. Но было бы очень важно дополнить этот аспект широты пространства аспектом его освоенности. Мы воспринимаем пространство за Уралом как “больное” — очень разреженное, плохо освоенное, куда уже начинают проникать “чужаки”, и т. д. Потому, возможно, одной из таких праксиологических компонент национальной идеи могла бы стать идея внутренней колонизации.

— *Всегда в таком случае хочется привести в пример Канаду, где практически все население живет вдоль американо-канадской границы и где столь же разреженные территории.*

— Канада — очень комфортная страна, которая исторически не вовлечена в конфликты (там мало вот этих “ниточек”, тянущихся из истории), у нее комфортное окружение, и ее благополучие пока стратегически и естественно гарантировано Соединенными Штатами. А понятно, что Россия находится в зоне риска в силу своей близости с Югом — исламским и конфуцианским, китайским.

— *Скажите, Михаил Витальевич, а в какой мере мы способны — и способны ли — как-то корректировать идущие процессы?*

— Ну, я изначально заявил, что отчасти я сторонник конструктивистских подходов, несмотря на свой консерватизм. В частности, идеологию Русского ковчега я и рас-

сматриваю как попытку трансформировать реальность, “подложив” под нее сильный центростремительный миф.

— *А в условиях глобализации это возможно?*

— Разумеется, мировая взаимозависимость стала системной реальностью для современных обществ. Причем стала гораздо раньше, чем начались разговоры о “глобализации”. Нужно лишь понимать, что те или иные описания реальности еще не являются ответом на вопрос о нашем месте в ней, о том, будем ли мы субъектом, о том, кто такие *мы*. В частности, новые вызовы, связанные с усложняющимся устройством мира, могут послужить в равной мере как увеличению роли государства — как гаранта *совместного* выживания нации на данной территории, — так и распаду, выхолащиванию государственной формы жизни. Это зависит от нашего политического выбора и нашей способности реализовать свой выбор. Конечно, у социологов есть представления о том, что формы коммуникации и развитие средств коммуникации объективно воздействуют на формы социальной связи, видоизменяя человеческие сообщества. Это очень существенно, так как даже обычное развитие средств связи колоссальным образом увеличивает плотность социальной среды. Сейчас люди еще как-то не очень этим озабочены. Феномен “постиндустриального тоталитаризма” пока в большей степени занимает воображение писателей и субкультур, склонных к паранойе. Но потихонечку, усилиями фантастов, в том числе практикующих, идея универсального “общества контроля” будет приближаться к наглядности. Одной из привлекательных черт идеологии Русского ковчега может стать именно то, что она обеспечит сохранение пространства автономии. Иначе говоря, это одна из стратегий противодействия глобализму на уровне государства-цивилизации.

— *Это же и есть утопия.*

— Это можно назвать утопией в том смысле, в каком о ней говорит Мангейм, — это представление, социальная установка, которая противоречит существующим стерео-

типам здравого смысла, отделяющим “возможное” от “невозможного”. Но сами эти стереотипы подвижны. Одна из задач и стратегий социального конструирования состоит именно в том, чтобы аккуратно смещать представления общества о возможном. Ну, например: до 11 сентября все были уверены, что “боинги” существуют для гражданских перевозок, ножи для резки картона существуют для резки картона, а человек существует для счастья. В локальное время на локальном участке была создана модель, которая опровергла эти стереотипы, и наши представления о возможном существенно расширились. Уже, может быть, не за горами момент, когда благодаря этому в военную доктрину государств широко внедрится представление о комбинированном оружии как особом оружии сдерживания и устрашения, — потому что новая гонка вооружений уже началась. Только, естественно, ее ставкой является не достижение паритета с гегемоном, как раньше было, а попытка удержаться выше того порога, который маркирует неприемлемый ущерб для гегемона. Значит, если американцы летят тебя бомбить, они должны знать, что понесут неприемлемый ущерб. Для этого приходится залезать в военный космос, разрабатывать новые поколения истребителей... Но для тех, кто этого не потянет, всегда есть и более простые средства устрашения. Колоссальная незащищенная коммуникационная инфраструктура современных мегаполисов. Мировой гегемон может просто в какой-то момент понять, что, десуверенизируя то или иное достаточно крупное государство с большими возможностями, он может получить у себя в тылу цепную реакцию диверсий, означающих для него неприемлемый ущерб. Границы представлений о возможном расширились.

— *Приходится часто слышать об утрате старых идеалов и о невозможности возникновения новых. Причем нередко и такие формулировки: “Был идеал коммунизма, но он оказался утопией”. Как все же вы разграничиваете эти понятия? И если действительно нереально сегодня говорить о новых социальных идеалах, то правомерно ли ставить вопрос об утопии новой России, новой Европы, нового мира?*

— Для меня сама категория идеала — это одна из форм утопического сознания, потому что идеал, так или иначе, — нечто привнесенное в действительность, нечто, простите за такое слово, трансцендентное действительности. В истории этики есть характерное разночтение относительно того, в чем состоит нравственность: нравственность как соответствие системе нравов данного конкретного общества или соответствие универсальному моральному закону. Именно поэтому один из специалистов по политической философии мог сказать, что либерализм, или идеология естественного закона, требует норм, по которым можно судить общество; а консерватизм пытается проследить, как в каждом конкретном случае нормы вырастают из самого общества. Вот эта первая позиция, то есть попытка судить общество или конкретную действительность с какой-то абстрактной высоты, и является идеалистической — то есть слабой в настоящее время, поскольку не существует самоочевидной инстанции, от имени которой могли бы провозглашаться “моральный закон”, универсальные нормы. Надо прекратить их провозглашать и пытаться мыслить этику, исходя из существования конкретных исторических общностей.

— *Возвращаясь к выстроенному в вашей книге ряду утопий, попытаемся резюмировать: что же такое утопия новой России?*

— Могу пояснить, почему я говорю об утопии новой России, хотя из сказанного это вытекает. В начале нашего разговора я не случайно упомянул 21 августа 1991 года. Этот день называют днем нашей “бархатной” буржуазной революции. И понятно, что именно этот день — осевое событие истории новой России. Для меня этот день и эта так называемая революция являются ничем иным, как жестом отказа от собственной исторической судьбы. За разговорами о наличии или отсутствии особого русского пути мы забыли, оставили в тени гораздо более важный вопрос — сохраняем ли мы волю к продолжению особой судьбы. Новая Россия — попытка от нее отказаться, примкнуть к лагерю победителей, как он мыслился на тот момент. Уже сейчас ясно, что мыслился он очень наивно и очень далеко от ис-

торической динамики. На тот момент умами реформаторов владела идея начать Россию с чистого листа и на нем написать правильные формулы, вычитанные у Адама Смита. Вот это я называю утопией. Я в данном случае не противопоставляю утопию истине. Истинно в конце концов в истории то, что будет реализовано. Утопия чудовищна не потому, что она нереальна, а именно потому, что может войти в реальность. И в этой связи, еще раз повторюсь, мы уже живем утопически.

Что является утопическим элементом в нашей актуальной идеологии? Попытки интеграции с западным миром. Собственно, это и значит интегрироваться в утопию, верить в возможность трансплантации институтов и систем ценностей, проектирования общественных отношений в отрыве от исторической и культурной преемственности. И ведь нынешнее западничество верит в тиражирование западных технологий успеха посредством тиражирования западных символов потребления. В действительности же все в точности наоборот: чем больше мы принимаем в себя “современные ценности”, тем больше удаляемся от современных технологий. Потому, естественно, мой методологический антиутопизм связан с политическим антизападничеством, которое, кстати, не следует путать с антиамериканизмом. Америка — конкретная страна, а западничеству подвержены интеллигенция да и массы в самых разных обществах. К сожалению, наш правящий слой — тоже. Поэтому могу вам сказать, уже не в плане социологии, а в плане поколенческого психоанализа, в порядке моих наблюдений за средой: одна из идефикс нового поколения — это идея полной, революционной ротации элит.

— *Не могли бы вы несколько подробнее охарактеризовать — психологически, политически — эти два поколения, которые отчасти сейчас противостоят друг другу? Тех, кто осуществлял ту буржуазную революцию 91-го года, и тех, кто намерен их заменить, кто приходит к власти.*

— Честно вам скажу, я плохой феноменолог и не взялся бы за такое эскизное и эмоционально убедительное создание этих портретов. Но я выделил бы две ключевые харак-

теристики, которые категорически неприемлемы для меня в действующем политическом поколении и фактически служат “пунктиками”, питающими миф о национальной революции. Первая черта — экономизм действующего политического поколения, назовем это так. То есть его универсальная стратегия — попытки конвертировать власть в деньги. Деньги считаются более надежным социальным ресурсом. И за этим гораздо более существенная антропологическая черта — гедонизм, желание, находясь в политике, получать от жизни удовольствие прежде всего. Это накладывает неизбежный отпечаток на всю философию жизни. Есть политические элиты, ориентированные на собственное благополучие, а есть — ориентированные прежде всего на власть. Принципиально разные человеческие доминанты. Следовательно, первая характеристика — экономизм, гедонизм, приоритет экономического над политическим, приоритет удовольствия, благополучия над служением и над властью. И вторая характеристика — интеграционизм. Задача действующего поколения элит, их сверхзадача, фоновая задача — интеграция в пирамиду международных элит. На десятых, одиннадцатых, на каких угодно ролях, но именно там они видят гарантии собственного состояния и т. д. Они, может быть, серьезно ошибаются, но пока это так.

Интересно что обе эти черты с точки зрения классической философии элит являются чертами глубоко антиэлитарными. Возьмем первую. Как Ортега писал о том, чем отличается человек элиты от человека массы? Человек массы просто живет и остается доволен собой, он получает удовольствие от жизни. Человек элиты служит, подчас безжалостно по отношению к себе и другим. А вторая черта уже скорее касается гегелевской и ницшеанской философии элиты, где она рассматривалась в категориях раба и господина. Это рабская психология — согласиться на безопасность, будучи десятым, нежели находиться в постоянной зоне риска, но быть первым. Если возможна сколько-нибудь серьезная ротация элит, то она будет иметь смысл только в том случае, если эти две характеристики окажутся пересмотренными. Конечно, я сейчас говорю о политической элите. Анализировать, как подобная проблематика связана с элитой в разных сферах жизни —

творческой, научной, экономической, — особый, очень интересный вопрос, но сейчас я бы за это не взялся.

— *А черты вашего поколения, в противовес действующему?*

— Мы — пока “темная лошадка”. Давать какие-либо характеристики сейчас совершенно бесполезно. Могу сразу оговориться, что позиция, которую я изложил относительно черт действующей элиты, рискует выглядеть романтической — просто вот это не те люди, не те герои, которых мы ждем. Дело не в том. Дело во многом и в структурных характеристиках, и в социальных отношениях. Пока они таковы, что, с одной стороны, преобладает экономическое, а не политическое; с другой стороны, преобладает логика встраивания в мировую элиту, а не логика построения собственной страны “под ключ” (что может быть единственной гарантией безопасности). И та и другая предпосылки могут быть опрокинуты в ходе вполне реальных социальных процессов.

— *Скажите, Михаил Витальевич, вы, по вашей самооценке, оптимист или пессимист?*

— Эмоционально я оптимист, безусловно. Хотя и не считаю, что история должна обходиться с нами мягко. Скажем, то философское поколение, которое мне наиболее близко, поколение немецкого младоконсерватизма — Шмитт, Юнгер, Хайдеггер, Фрайер — в ходе своей жизни потерпело колоссальное поражение. В какой-то момент они с энтузиазмом восприняли национал-социалистическую революцию; примерно в середине 30-х этот энтузиазм был погашен логикой их персональных отношений с системой. Но так или иначе понятно, что поражения во Второй мировой войне были их личные поражения. Эти люди лично подверглись “денацификации”. И интересно, что они — не скажу, что не потеряли оптимизма, потому что в данном случае это плоское слово, — не потеряли нить истории. Они продолжали оставаться внимательными наблюдателями и участниками исторического процесса, постольку, поскольку мыслитель соучаствует в истории, будучи

чувствительным именно к тому новому, что происходит. Фрайер стал одним из первых теоретиков индустриального общества, Юнгер — одним из первых, предложивших осмысление постмодернистской ситуации, Шмитт — одним из первых наблюдателей и системных аналитиков “холодной войны” и “теории партизана”, которая становится актуальной прямо сейчас, и т. д. Таким образом, конечно, если оптимизм, то такой неколебимый, который не рассчитывает на счастье. В этом смысле я оптимист.

— *И вы столь же оптимистично настроены относительно нашего будущего?*

— Я категорически против того, чтобы выступать в жанре прогноза. Потому что отвечать серьезно — значит фактически перейти совершенно в другой регистр обсуждения и начать говорить о текущей политической ситуации, и смотреть, как изнутри нее начинает заявлять о себе какое-то будущее... Скажем коротко: все, чему *стоит быть*, — *будет*. История продолжается. Для меня фигура мыслителя, выходящего на сцену в конце истории, просто логически и эмоционально недостоверна. Мысль должна соучаствовать в процессе изменений, должна быть креативной. Креативность — это фактор социальной практики, сейчас, может быть, становящийся все более значимым. Даже креативность, которая бурлит где-нибудь в современной философии и литературе, имеет серьезные шансы проникать, по крайней мере частями, в дело проектирования и создания будущего. Для меня важно зафиксировать, что пространство политического влияния расширяется. И поэтому даже область интеллектуального влияния понемногу начинает становиться тоже политической областью. Хотя питать иллюзии интеллектуализации политики не следует, естественно.

## А.Ю. Ашкеров Философия вершится только здесь и сейчас...

— *Вам самому, Андрей Юрьевич, нет еще и тридцати, а вы уже ряд лет читаете курс студентам философского факультета МГУ и, видимо, лучше, чем многие другие чувствуете эту аудиторию. В поколенческом смысле вас наверняка можно и объединить. Как складываются ваши представления о сегодняшней России и современном мире? По многим оценкам, это поколение аполитично, несколько консервативно — не признает либерализм, все то, за что активно выступало в 90-е годы поколение, которое сейчас у власти, но и не спешит заявлять о своих позициях. Хотелось бы услышать ваше мнение.*

— У меня не сложилось мнение, что мое и идущее следом поколения аполитичны. Это совершенно не так. Но изменились формы политики и политического участия. Мне кажется, что поколенческая разница, даже не то чтобы конфликт поколений, а некая дистанция, которая между ними существует, — вещь обязательная. И мы не вправе требовать от наших потомков, тем более от наших предшественников, чтобы они соответствовали нашим собственным устремлениям. Это просто невозможно. Достаточно представить, как мы бы себя вели, как мы бы сформировались, если бы оказались в совершенно другом историческом контексте. Возникает масса различий, которые никак невозможно подогнать под одну мерку. Сейчас появилась какая-то мода на сериалы из жизни 40–50–60-х годов. Герои абсолютно современны по установкам, по способу существования, если угодно, они помещаются в предшествующий исторический контекст, и сразу становится видно, что это некий монтаж. Очень искусственно, не чувствуется аромата времени.

— *А вы-то, молодые, как чувствуете дух того времени?*

Говорят, что “плохо жить в эпоху перемен”, а я считаю — нам посчастливилось жить в эпоху перемен, когда очень много исторических слоев напластовалось. Десятилетия, прошедшие после войны, — такие микроэпохи, очень непростые связанные друг с другом, тут нет какой-либо преемственности, но существует сложное взаимоналожение, может быть, иногда сложный синтез, иногда сложный разрыв, опять-таки трудный, конфликтный разрыв одной эпохи с другой и т. д. Если говорить о моем личном становлении, то я был погружен в прошлое с самого детства. Это прошлое было представлено в старых газетах, журналах, начиная с довоенных годов.

— *Вы кончали тот же философский факультет МГУ?*

— Да, но политологическое отделение. Все эти съезды, политические кампании, конфликт дискурсов, который постоянно проявлялся подспудно. Безусловно, здесь основным моментом было так называемое разоблачение так называемого культа личности. Все было как бы и с нами, и уже не с нами. И это ощущение чего-то ускользающего, что нужно ухватить, настигнуть, бесконечно интересное ощущение, я получал большое удовольствие.

Одновременно это был своего рода практикум по исследованию политики, точнее, текста политической власти; передо мной открылось поле очень специфической герменевтики: нечто было зашифровано, существовали какие-то подспудные течения. Например, события XX съезда, затем XXII съезд... Отказаться от Сталина, но как, каким образом, если нет никакой возможности отринуть собственное прошлое? И наоборот, показаться “святое папы Римского”, продемонстрировать лояльность, но сохранить при этом скрытую — и всем понятную — верность вождю и учителю.

Кстати, уже тогда чтение было связано с определенно-го рода ностальгией...

— *Ностальгией по чему?*

— Речь не идет о ностальгии по “дооттепельным временам”, хотя и они могут быть адресатом этого чувства, не стоит смешивать ностальгическое мироощущение с идеологическим выбором.

Идеология — ретроактивное чувство, в каком-то смысле она и делает прошлое прошлым. Ностальгия же делает прошлое вечным, современным в буквальном смысле слова. Ностальгируя, мы продлеваем надежду на то, что не все изменилось, что вообще не все меняется, по крайней мере на наших глазах. Служа составной частью воображаемого, ностальгические образы обладают счастливым преимуществом — они сотканы из той же ткани, что и представления о том, что еще может случиться. Поэтому ностальгия — это всегда еще и воспоминание о будущем. Сейчас я понимаю, что всегда выбирал то будущее, которое уравниво в правах с прошлым — с точки зрения своей несбыточности. Иными словами, мое будущее всегда было создано по мерке прошлого. Что-то необратимо уходит, и это “что-то” уничтожаем мы сами. Понимаю, вам может показаться, что это не свойственные маленькому мальчику мысли. Тем не менее они возникали.

И теперь я глубоко убежден, что без чувства ностальгии (кстати, в равной степени и психологического и социального) нельзя подойти к проблематике взаимоотношений поколений. Мы привыкли твердить, что между ними должна быть преемственность, но именно в способе обозначения преемственности следует конкретный набор средств, с помощью которых проводится дистанция. Никакой спаянности поколений быть не может.

— *Каждый раз разрыв?*

— Я бы не сказал, что это только разрыв (или, тем более, “конфликт”). Каждый раз какой-то сложный комплекс взаимоотношений — ведь и похожи друг на друга поколения именно тем, как они хотят друг от друга дистанцироваться. Когда мы пытаемся отстраниться, или *обособиться* — вот достаточно емкое слово! — от родителей, в этих-то страте-



гиях и тактиках дистанцирования мы на них похожи, мы их воспроизводим. Это проявляется на микроуровне — в конкретной семье, но и на макроуровне — в обществе тоже. Очень много говорят о модернизации, иногда эти разговоры кажутся едва ли не назойливыми, а вот поколенческое измерение модернизационных перемен практически никогда не учитывалось.

— *А если вернуться к вопросу о ваших сверстниках?*

— Начнем вот с чего. Вы с некоторой, как мне показалось, ностальгией говорите о том, что им чужды идеалы либерализма. Но ведь был определенный опыт реализации либерального проекта. Его можно по-разному оценивать, но я вижу много негативных последствий такой реализации. Это не значит, что я мгновенно себя отнесу, скажем, к консервативному лагерю (что бы ни понималось под этим лагерем), но мы видим огромные издержки. Конечно, отношение современного поколения к политике, насколько могу судить, соотнося себя с этим поколением и во многом себя ему противопоставляя, выражает все множество последствий неудавшегося проекта либеральных реформ. Все это множество последствий не может быть сведено к одной “реакции”, имя которой аполитичность.

Проблема в том, что возможности политической деятельности, которые открываются перед моим поколением, в неизмеримо большей степени показывают торжество абсентеизма и коллапс политического участия, нежели пресловутая “аполитичность”, о которой так любят поговорить. Посмотрите, чем сейчас является политика? Бизнесом, причем очень и очень “грязным”. На каких условиях молодежь может заниматься политикой? Только на тех, что диктуются поколением 40–50-летних. Какие роли здесь возможны? Либо роли статистов в молодежных организациях партии власти, либо (одно, впрочем, не исключает другого) — подмастерьев: политтехнологов, работающих на региональных выборах, помощников депутатов, исполняющих иногда весьма специфические поручения, мелких чиновников с невесть откуда взявшейся выучкой тоталитарных времен и т. д.

Пройти процедуры посвящения здесь — значит согласиться изгнать из политики все, что отличает ее от бизнес-деятельности с наивысшими нормами прибыли. К слову, раньше, для того чтобы сделать политику формой такой бизнес-деятельности, была необходима громоздкая и дорогостоящая мифология демократии. Теперь в ней нет особой необходимости. Единственная форма равенства, которая была при этом достигнута, равенство всех в ипостаси собственников. Интересы наименее мобильных из них никто в расчет не принимает: а зачем? Между тем наименее мобильными оказываются именно старики. Потому подлинное проявление конфликта поколений сейчас — в невиданном свертывании всех социальных гарантий, которое замаскировано под демонтаж остатков прежнего социалистического уклада. В этом демонтаже — более изощренное продолжение политики 90-х.

Вместе с тем я отмечаю, что молодое поколение с большим удовольствием, я думаю — многие интуитивно, но многие и осознанно, и они мне ближе всего — дистанцируется, отстраняется от этой уныло-свинцово-трикольной “постсоветской” эпохи. Мы должны понимать, что опыт неудачных изменений должен быть в каком-то смысле перечеркнут.

А на формы политического участия, политизации давайте взглянем иначе. Люди старших поколений привыкли взирать на политику из перспективы всеобъемлющего участия. Так, как будто бы она открыта, как будто у нас столбовая дорога либерализма уже построена и, выходя на нее, мы видим эту перспективу. Я думаю, что все совсем не так. Никакого всеобъемлющего политического участия сейчас нет. Кстати, аполитичность молодежи, ее определенная деполитизированность может складываться и под знаком либеральной (либералистской) прагматики — “мы будем заниматься бизнесом, а не политикой”; это такая, если воспользоваться сленговым словечком, “мажорная” форма абсентеизма. Но и в данном случае мы должны четко отдавать себе отчет в том, что речь идет об очередном эффекте тотальной или почти тотальной ограниченности реального политического участия.

И деполитизация во многом связана с невозможностью такого участия — в тех, скажем, формах, которые соответ-

ствуют наиболее прекраснодушным ожиданиям “шестидесятников”. Эти ожидания уже успели обернуться наиболее страшными снами перестройки. Однако перестройка сама давно (и не один раз) подверглась перестройке. “Шестидесятнические” ожидания оказались развеянными по ветру. Делая ставку на политику, шестидесятники просчитались: основным властным ресурсом стала не политическая, а экономическая власть. И именно эта власть давно распределена и перераспределена. Теперь играть в массовую театральщину демократических идеалов более никому не нужно.

— *И в то же время именно сейчас мы наблюдаем толпы молодых, куда-то идущих, что-то кричащих. Это не признак времени? А антиглобалисты по всему миру?*

— Это совершенно разные вещи: начиная с 60-х годов у нас складывался некий эстетический идеал политического участия, вызревавший как бы подспудно, в основном “на кухнях”. Некоторые и сегодня пытаются помыслить какие-то политические выступления в соответствии с этим идеалом. Однако эти выступления — на мой взгляд, неподготовленные, сиюминутные — я не рассматривал бы как символ эпохи. Действия их инициаторов не то чтобы неосознанные. И дело даже не в том, как это выглядит. Скорее, я бы это по-другому сформулировал. Если говорить гегелевским языком, эти выступления не принадлежат действительности. Они не что иное, как инсценировка прошлого.

— *Прошлого очень далекого?*

— И далекого и близкого. Последние реальные всплески этого прошлого, когда оно еще как-то пыталось быть настоящим, мы видели в эпоху перестройки. На Западе, кстати, то же самое: мы видим, насколько любой пафос молодежного политического участия содержит в себе некую примесь горечи оттого, что это принадлежит прошлому, ушедшему. Вспомним хотя бы фильм Бертолуччи “Мечтатели”. Он как раз о революции 1968 года, об эсте-

тико-политических установках того поколения. Многие из них, между прочим, стали благополучными функционерами Евросоюза, ведь радикализм был исчерпан. Взять хотя бы основного идеолога 60-х Кон-Бендита — прекрасно сейчас существует в качестве руководителя движения “зеленых”, заседает в Европарламенте.

— *Это человеческая природа?*

— Я не говорил бы о такой категории, скорее, переформулировал бы это в терминах возрастного становления и, конечно, индивидуального онтогенеза, индивидуальной истории. Но с другой стороны, если выбирать революцию, то уж последовательно и до конца. Ничего подобного не было. Мы не должны идеализировать революцию 1968 года и связанную с ней неким странным образом революцию 1991-го как такие образцы революционности. Скорее, обе они были признаками угасания жанра. Сейчас угасает жанр революционного действия. И одновременно мы присутствуем при тотальном испарении политического смысла. Когда в ходе проведения выборов определяются квоты для голосования за ту или иную партию (это действительно существует) — о каком смысле тут можно говорить? Если революции 1968 или 1991 года тянули хотя бы на плохую инсценировку, то современная политика в таких ее проявлениях, как выборы, референдумы и так далее, даже на инсценировку не тянет.

— *Скажите, Андрей Юрьевич, что движет молодыми людьми, которые сегодня поступают учиться на философский факультет? Интересна ваша оценка такого выбора.*

— Люди и их устремления, естественно, разные. Есть разряд таких современных анахоретов, которые пытаются найти на философском факультете некое прибежище от тягот внешнего мира и одновременно место, где можно обрести свой внутренний мир. (Возможно, к их числу захотела принадлежать и недавно поступившая к нам певица Земфира.) По крайней мере, здесь достаточно комфортные ус-

ловия, чтобы заняться чем-то подобным. Такие люди не думают о карьерных выгодах (разве что в контексте своего анахоретства), им прямая дорога в преподаватели. Я часто наблюдал за становлением тех, кто параллельно со мной начал преподавать. И хотя почти сразу после поступления в аспирантуру стал тоже преподавать, себя я, в общем, к этой категории не отношу. Наверное, потому, что не делаю столь четкого разграничения между “внутренним” и “внешним” мирами. В подобном противопоставлении слишком много следов слишком уж религиозного отношения к философии. Я не сторонник подобной инициации, подобного обращения, ибо подобный подход к философии превращает ее в метафизику. А это всегда было мне чуждо.

— *Можно ли назвать то, что вас интересует, практической философией?*

— Замечательное словосочетание: “практическая философия”. Начнем с того, что философия — это и есть практика. И античное понимание философии, которому я стараюсь следовать (боюсь, может быть, даже слишком в том преуспел), — это превращение некой истины в способ существования. Истина должна таким образом воздействовать на человека, чтобы он менялся. Вот забытая античная постановка вопроса об истине: ты не просто прикасаешься к ней как к какому-то абсолюту, ответ которого на тебя падает; истина непосредственно “цепляет” тебя, затрагивает экзистенциальную сторону твоей жизни и меняет тебя под своим влиянием.

Вот еще одна мотивация выбора, о котором мы говорим. Есть люди, которые приходят на факультет просто получать некое общее образование. Есть те, кто намерен получить хорошее гуманитарное образование и имеет при этом вполне определенные практические устремления. Ни для кого не секрет, что среди выпускников философского факультета много и политтехнологов, и журналистов, и людей, специализирующихся в области арт-бизнеса. Конвертировать знания, полученные на факультете, можно достаточно легко. Однако мне больше нравится некая принципиальная незаинтересованность в будущем применении

знания, ведь должно быть в философии что-то от роскоши, без которой, по словам Ахматовой, не обойтись

— *Сказанное вами относительно истины не созвучно вопросу о возможной коррекции социальных процессов?*

— Я в это не верю. Дело в том, что политический процесс (и это тоже наследие 90-х) сильнейшим образом технологизирован, он вписан в определенный алгоритм, совершается по общим очень четким и очень простым правилам. Можно много и долго говорить о креативности и креативных возможностях, но я не вижу, каким образом вернуть все это политическому процессу, понятному в узком смысле как *real politics*.

Сейчас ситуация такая, что сама постановка вопроса предельно релятивизирована. Если вы хотите сделать так, чтобы этот потенциал креативности, о котором вы говорите, существовал, и думаете, что он существует, — он существует. Если не думаете и не хотите — он не существует. Только так. Он существует на уровне технологических решений и технологизированных проектов, имеющих очень небольшое отношение к собственно жизненному выбору. Более того, любой жизненный выбор, который ориентирован на социальное признание, на успех в его современном понимании, предполагает такую технологизацию. И очень многие во имя нее готовы отречься от всего. Это легкий путь. После того же философского факультета очень просто заниматься пиаром. У тебя есть навыки, знания, все прекрасно, ты делаешь реальные вещи, получаешь реальный результат. Зачем думать о том, какими издержками это обернется, нужно ли это вообще, может, стоило сделать что-то иначе?

Вообще, в этих заниженных требованиях к себе, к жизни ощущается какая-то слишком явная готовность к (само)варваризации или к тому, что я называю *само(о)козлением*. (Не сочтите последнее словечко вульгарным: как мы помним, трагедия в переводе с древнегреческого есть всего-навсего “песнь козлов”.) Само(о)козление — это выбор сценария упрощения. Подобная простота вместо комплекса решений и ресурсов, обеспечивающих пространство маневра, предоставляет лишь однозначные альтернативы,

ни одну из которых невозможно предпочесть, если ориентироваться на более или менее масштабную перспективу. Иными словами, простота оборачивается ситуацией, помещая себя в которую мы одним махом закрываем выход (в том числе и выход из игры). Это такая система сиюминутных выгод, которая в одно мгновение превращается во всемирно-историческую “мышеловку”.

Мне никогда не хотелось выбирать нечто подобное, и я неизменно выбирал сложное вопреки простому (многим подобные “сложности” казались избыточными, даже нарочитыми). В итоге для меня лично выбор в пользу комплексности оказался выбором в пользу философии, которая представляет собой некую парадоксальную анатомическую практику, когда расчленение порождает не менее сложные образования. Эти образования не имеют общего первоисточка, под них не подведен один фундамент, они не сводятся к одному целому и т. д.

При этом мысль была и остается для меня *политикой*. Но политикой отнюдь не платоновского толка, то есть не политикой, обращенной к поиску целостности (а также фундаментов, первоисточков и пр.). Философская мысль — это политика различий и различения, через которые вершится устройство мира. Такой же политикой является для меня и философское высказывание. Именно в таком качестве философию можно противопоставить технологизированной, технологичной деятельности (ведь в рамках технологий различия существуют как бы в готовом виде — как сущности или данности).

Мысль всегда есть политика. Высказывание — политика. Но философская мысль и философское высказывание суть политика особого рода. Политика миропонимания, политика мироустройства. Определение этого позволяет нам противопоставить философию (которая всегда есть способ существования) деятельности технологичной, технологизированной.

— *Кому?*

— В данном случае — конкретно мне. И людям, которые в этом со мной солидарны. Избежать технологизации

можно только в том случае, если мы вступаем в игру с заранее не предрежденным результатом. А когда мы ведем речь о мысли, тем более о мысли как о политике, всегда ставим некий эксперимент, результат которого не предрешен. И в этом основная миссия исследователя, которую он четко должен себе представлять. Ведь очень многие работники науки (замечательное словосочетание, изобретено в советские времена!) относятся к этой своей деятельности как к некой идеологии, где тоже все расписано, где тоже понятно, какую миссию надо выполнять. Это происходит естественно, бессознательно и осознанно одновременно. Они исполняют определенную роль, откуда тоже уходит эксперимент. Я был на массе каких-то круглых столов, семинаров, где очень четко видно, что люди играют в некий профессионально-должностной статус. Это не отношения, связанные с тем, что истина должна себя каким-то образом применять. Это не эксперимент над собственной судьбой — цена очень дорога.

Я против того, чтобы научное знание все более дистанцировалось бы от политики. Это не значит, что я верю в Марксову постановку вопроса о научном планировании, кладущемся в основу преобразования социальной жизни и последующего господства людей над вещами. Я не разделяю идеала тотальной спланированности всего и вся, который, безусловно, является сциентистским, научным идеалом. Но, повторяю, я против фатальной дистанцированности науки и политики, которая сейчас есть. Наука востребована лишь как форма интеллектуального сервиса, аналогичного любому другому сервису. Образование, кстати говоря, тоже превращается в сервис: гостиничный сервис, сервис по уборке помещений, интеллектуальный сервис. Через запятую. Я категорически против этого.

Сблизить науку и политику сегодня нужно для того, чтобы понять: пестовать какой-то идеал сейчас совершенно недостаточно, чтобы действительно преобразовать мир. Можно вспомнить в таком контексте о Сартре, о его образе социально-ангажированного исследователя. Достаточно правильно сформулировать нечто в голове, как окружающая действительность мгновенно преобразится; идеал и будет знаком твоей ангажированности, если ты осознаешь,

что занимаешь некую классовую позицию, а она говорит за тебя; и, осознавая, что твое осознание связано с твоим социальным происхождением, ты оказываешься вовлеченным в политику, причем вовлеченным *автоматически*. Не буду заниматься здесь вопросами исторической генеалогии, для нас во всяком случае эта точка зрения является сугубо “шестидесятичной”. В настоящее время мы не имеем права на такую точку зрения, слишком много в ней благостной самоуспокоенности.

Это совсем не значит, что я в принципе против идеалов. Но сейчас идеал тоже существует как ностальгическая форма. Вопросы об идеале и политической роли интеллектуала нужно по-другому сформулировать. Прежде всего, каковы социальные условия производства новых идей? Каковы социальные условия их “потребления”? (Так ли нужны здесь теперь кавычки?) Каковы социальные условия трансформации общества под влиянием неких совершенно конкретных проектов? Вот мое кредо — социальные условия производства. Об этих словах мы забыли. И совершенно зря. Конечно, для нас тут плохую службу сыграла чрезмерная увлеченность производством и производственной деятельностью в марксизме. Но надо переформулировать эти постановки вопроса, задуматься не только об экономическом производстве, но и о социальном производстве в широком смысле слова. Именно поэтому мое политическое кредо — теоретический анализ. Как вы понимаете, он не может быть ориентирован только на реализацию идеала. Однако идеал исполняет миссию ореола, окружающего теорию и делающего ее чем-то завораживающим, как это произошло, между прочим, и с марксизмом.

Но опять-таки: я бы не хотел, чтобы эту позицию представили позицией такого отшельника, который забился в башню из слоновой кости и думает, что навсегда укрылся от всех тягот мира. Нет, я хочу подчеркнуть: анализ нужен как политическая программа, политическая позиция, связанная с автономизацией научной деятельности. Наука в нашей стране вынуждена отстаивать право на существование. Вопрос стоит именно так: в какой мере сохранится возможность существования науки, научной деятельности? Помимо того интеллектуального сервиса, помимо экс-

пертизы, которая, безусловно, востребована и хорошо оплачивается...

— *А что станет результатом анализа?*

— Я не хочу, чтобы этот результат был предсказуемым, иначе чистота эксперимента нарушится. Как только мы ликвидируем непредсказуемость, мы перестанем воспринимать общество как систему отношений, связанных с рисками, неопределенностью, негарантированностью. То есть сам предмет наших исследований, если мы говорим о социальной теории, о социальной науке, будет лишен важнейших своих качеств. Ну и сама наша познавательная деятельность, если мы четко поставленные цели будем связывать с определенно предсказуемыми способами их достижения, станет действовать против нас.

Сегодняшнее положение таково, что спектр позиций или ролей достаточно четко определен. Альтернатив немного. Экспертное сообщество, готовое признать себя элементом всеобъемлющей системы интеллектуального (научно-образовательного) сервиса. Академические инстанции, чахнувшие на глазах и воспроизводящиеся только в виде декораций. Независимые интеллектуалы, непризнанные гении, выступающие на страницах интернет-изданий. Политические публицисты, публицисты от культуры, от философии; их достаточно много, и, может быть, пребывание в роли такого публициста — необходимый этап становления мало-мальски признанного исследователя, занимается ли он гуманитарными науками, социальными, философией и т. д. Однако тут слишком легко свыкнуться с образом идеолога, который в какой-то момент просто сумеет более выгодно себя продать некой корпорации. Возможно, эта корпорация будет неким модным изданием о моде (есть емкое словечко, которое все это описывает, — “гламур”), но, возможно, она будет носить гордое имя “Государство” (хороший тон политического “гламура” задают ныне разговоры о корпоративном государстве).

Мой интерес здесь — понять социальные условия производства теоретических и идеологических позиций, ус-

ловия производства разнообразных дискурсов и т. д. Как правило, превращение исследователей, ученых в идеологов сопряжено с тем, что они принципиально ничего не хотят ведать об условиях производства собственного продукта. Этот момент всегда затемняется, оказывается как бы не в фокусе. А это самое важное. Удвоение собственной рефлексии, не только по поводу того, что ты произвел, но и по поводу того, каким образом это стало возможным, — это как раз та исследовательская стратегия, которая одновременно является и политической. Я хочу по крайней мере полностью отдавать себе отчет в реалиях интеллектуального производства. Это для меня политическая задача, и она важна хотя бы потому, что моя ставка здесь — расширение возможностей этого производства. И опять-таки, недостаточно создать себе некий идеал. Может быть, наоборот, создать сейчас некий идеал — препятствие для того, чтобы нечто осуществить. Надо посмотреть, каким образом это можно произвести. Но, здесь возникает призрак тотальной технологизованности, поскольку сейчас произвести как проект можно абсолютно все. Это раньше (например, у Сартра) категория проекта была наделена совершенно особым, поистине экзистенциальным статусом, теперь же она его лишена. Проект отныне — это то, что делается из подручного материала, форма бриколажа, не более того. Я предвижу, допустим, формирование проекта под названием “Новая генерация ученых”. Ну, возникнет такой проект и что дальше? Вспомним о французских “новых философах” (о Б.-А. Леви, например), которые хотели, чтобы их такими считали, но самим фактом своего возникновения продемонстрировали некий коллапс философии, ведь если ты и вправду “нов”, не нужно об этом объявлять...

— *Вы читаете основной и специальные курсы на философском факультете МГУ. Ваш коллега в каком-то смысле — дьякон Кураев, который тоже читает свой курс на философском факультете МГУ, — говорит, что хочет тем самым как минимум “поставить вкус к религиозной мысли”. А какую задачу ставите вы?*

— Не знаю, что Кураев вкладывает в эту фразу “поставить вкус”, но мне тут нравится слово “поставить”. Я вижу задачу преподавателя в том, чтобы действительно определенным образом ставить умение, некие навыки. Знаете, как ставят умение двигаться, например, в танцклассе, голос у певцов. Об этом очень хорошо писал французский социолог Пьер Бурдьё. Вот так же действительно надо “ставить” и вкус. Но вкус не к чему-то, например, к тому же сценическому движению или пению, а вкус вообще, который и есть “философский” вкус. Кураев, судя по приведенным словам, тоже не “ставит” этот вкус вообще, а ограничивается вкусом к религиозной вере (стремясь обезопасить ее от воздействия оккультных учений, сект, экстрасенсов и пр.). Это значит, что между вкусом к религиозной мысли и обращением в определенную веру проводится в данном случае знак равенства. Момент веры важен для философа. Но философ не рассматривает веру в столь “теологизированной” перспективе. Безусловно, преподаватель философии должен обладать некой возможностью вызывать веру, но эту возможность, если он еще и философ, ему нужно подтверждать. А способен ее подтвердить он только в том случае, когда не просто вызывает веру, но еще и намечает ее контуры. То есть может одновременно указывать на границы этой веры. Парадоксальный жест: с одной стороны, очертить пространство веры и обратить в нее кого-то, а с другой — указать на некую недостаточность этой веры, на ее принципиальную открытость.

— *А что интересно лично вам?*

— Что меня действительно интересует, так это возможность показать, что между этикой и эстетикой не существует никакой непроходимой границы. Мне не хочется ни эстетизировать мораль ни морализовывать эстетику. Более того, я искренне убежден: между денди и ханжой нет никакой принципиальной разницы, они парадоксальным образом оказываются как бы по одну сторону баррикад. Или, если говорить о литературных фигурах, нет никакой пропасти между эстетом Уайльдом или моралистом Достоевским. Один посвятил жизнь тому, чтобы создать ригористический культ

красоты, другой — видел красоту в самом ригоризме (это вообще характерно для русской литературной традиции).

Преображая красоту в краеугольный камень морали, мы изгоняем ее из мира, однако именно эта “красота в изгнании” и призывается для того, чтобы его спасти. Как возможно нечто подобное, если мы предварительно сделали все для того, чтобы красота не имела бы к нам никакого отношения?! И более того, отчуждает нас от самих себя. Это вечная проблема, которая связана с нарциссизмом, характерным для людей искусства. И не имеет значения, что питает их творчество: религиозный экстаз или эротическая завороченность. Обе эти вещи имеют общий исток — в фиксации невозможности иметь дело с неким объектом, которым на поверку оказываешься ты сам. Иногда, впрочем, эта фиксация — в качестве побочных продуктов, конечно, — удивительные, чарующие творения. Однако мы не должны забывать о том, что каждое из этих творений еще и протокол некоей дереализации. Дерееализации, которая как раз и приводит к нашему раздвоению и дистанцированию от самих себя.

В отличие от литераторов я фиксирую не отчуждающее нарциссическое желание “прикоснуться к красоте”, а безобразное соприкосновение красоты и реального, возвышенного и повседневного. В моем представлении не существует никакого эстетства, есть причудливые конфигурации долга, который мы имеем перед собой и другими. Эстетизированная мораль возвещает нам о том, что долг предполагает последовательность, умеренность, добропорядочность и много чего подобного. Однако только абсолютно аморальный человек может принять эти “призраки долга” за сам долг. В действительности его исполнение нередко может предполагать очень странное поведение, оно кажется вызывающим, к нему невозможно привыкнуть... Ведь личность — не сосуд привычных качеств, а некая онтологическая *модальность*, которая возвещает о себе человеку как бремя *долгестования*. То, что человек *способен совершить*, всегда, подобно бумерангу, возвращается к нему в виде того, что он *должен сделать*.

Осмыслить долг невозможно, если пытаться проводить границу между внутренними побуждениями и внешним

принуждением, между мотивациями и детерминациями. В том-то и дело, что он находится где-то посередине, обращаясь к исполнению долга, мы не можем сказать, движет ли нами в этот момент нечто “внешнее” или нечто “внутреннее”. Говоря о долге, мы предполагаем некую рецепцию невозможного и, одновременно, невозможное рецепции. Таким образом, долг как странная смесь “внешнего” и “внутреннего” и есть то, что составляет предмет эстетики без-образного.

— *Значит, никаких авторитетов, никаких собственных Я того или иного преподавателя? Чтобы его слушали, он должен быть схож с сидящими в аудитории?*

— В том-то и дело, что индивидуальность — не некий сосуд с совокупностью свойств. Индивидуальность и есть способность отличаться и отличать. Вот умение теоретика (а я говорю именно об умении) всегда строится как раз на возможности проводить различие. Чем больше и лучше мы умеем проводить различия, тем более эти различия софистичны, тонки и неожиданны, тем выше потенциалы креативности. В рамках традиционной постановки вопроса — да, авторитет есть носитель субстанциональной индивидуальности. Как в случае, скажем, с Мамардашвили: он авторитетен, потому что считался неповторимым. По самому своему качеству. Теперь никто в такой субстанционализм не верит. Постановка вопроса другая: каждый умеет отличаться, умеет отличать; ты вызываешь доверие в том случае, если умеешь отличаться и отличать понятным образом, но вместе с тем качественно лучше, чем другие. Заволаживать этим умением, если угодно.

При этом преподаватель демонстрирует способы максимизации индивидуальности, критерии этой максимизации, дает определенные ориентиры, осмысливает, как это вписывается в контекст существования современных обществ, самой современности, если говорить чуть более высокопарно. И ты обязательно должен хотя бы отчасти раскрывать карты. Ведь люди, служившие непререкаемым авторитетом в прошлые времена, никогда не раскрывали карт. И потому они всегда были — в этом смысле — фокусниками

чистой воды. А сейчас наоборот, *нельзя не раскрывать карт*, но в том-то и заключается главный фокус.

— А что, на ваш взгляд, можно сказать о самой социальной философии сегодня? Она востребована?

— Раньше была серия сборников “Над чем работают философы”. Это как раз тот случай, когда, отвечая за себя, ты отвечаешь за всех. Здесь тоже изменилась постановка вопроса: недостаточно сказать, что я не собираюсь говорить “от имени и по поручению”; наоборот, сейчас мы, говоря от своего имени, отвечаем за очень многих. Потому что можем осмыслить генеалогию собственного мнения, собственного взгляда, генеалогию собственной теоретической, идеологической или мировоззренческой позиции. А значит открыть и самую возможность мысли, проследить ее модальности.

Какова, на мой взгляд, ситуация в социальной философии? Очевидно, вы знаете, что в 1960–1970-е годы возникла генерация философов, которые были чужды традиционной, чрезмерно идеологизированной проблематике классовой борьбы, диктатуры пролетариата и т. д., составлявшей лейтмотив рассуждений начиная с 20-х годов. Что они сделали? Перевели проблематику социальной философии и философии вообще в область некоей схоластики. Схоластические споры, как известно, в советском марксизме велись всегда, но по поводу вполне определенных тем и были крайне политизированы в связи с самими этими темами; все это выражалось потом в поиске врагов непосредственно в собственном стане (отсюда эти философские чистки, критика Деборина, например, и т. д.) и было нацелено на то, чтобы выкристаллизовать образ врага как такового. Врага народа, например. В 60-е годы схоластики не стало меньше, но она как бы оторвалась от политизации и стала менее привязана, уже по понятным причинам, к процессу выкристаллизовывания образа врага — как внутреннего так и внешнего. Вместо этого занялись категориями, как и подобает схоластам.

Генерация философов, которым теперь от 55 до 70 и выше, формировалась в русле этих тенденций. И сама одновременно формировала эти тенденции. Некоторые мо-

лодые представители этой генерация и сейчас занимают статусно значимые позиции. Очистив, может, и несколько трансформировав свои взгляды, они пишут учебники. И, разумеется, это схоластическое знание по-прежнему остается основой для преподавательской деятельности. Есть такая форма знания, которая нацелена на то, чтобы делать некие экзерсисы и управлять некими экзерсисами: присесть 25 раз, привстать 25 и т. д. Она пригодна для такого рода интеллектуальной муштры, если угодно.

Социальная философия сегодня представляет собой наполовину (но только наполовину!) очищенную от марксизма и приправленную другими научными направлениями теорию, акцентирующую внимание на проблематике антропосоциогенеза, проблематике сознания, потребностей, деятельности. Те же 60–70-е годы обозначили так называемый деятельностный подход в марксизме, и до сих пор многие из тех, кто принадлежит к старшему поколению, его разделяют, по крайней мере считают чем-то значимым. Эта позиция приправлена некими фрагментами Вебера, Дюркгейма, может быть — по вкусу — Зиммеля или Сорокина, Франка. На такой основе создаются учебники: все очень легко излагается, потому что заранее систематизировано и опять-таки не требует какого-то эксперимента. Это предполагает и сугубо идеологическое отношение к научной деятельности. А идеологией здесь выступает само преподавание, что не всегда плохо. Я не говорю, что и в принципе плохо. Но это так, и это имеет огромные издержки...

К тому, чтобы заниматься социальной философией, я стремился давно, но пришел случайно, поскольку, как уже говорил, специализировался в области теоретической политологии, преимущественно философии политики. При всей близости эти дисциплины на философском факультете разнесены и относятся к разным отделениям: социальная философия — к философскому, теоретическая политология — к политологическому. Для меня и сейчас исследование властных отношений является наиболее важным аспектом анализа общества и человеческой идентичности.

Возвращаясь к вашему вопросу могу сказать: я не думаю, что сегодня уже можно говорить о новой генерации социальных философов — новые интеллектуальные фигу-



ры вряд ли себя позиционируют в качестве социальных философов. Во многом потому, что в последнее время у нас само понятие социального в значительной мере сузилось, как бы скукожилось. Оно ассоциируется, скорее, с социальной работой, с бюджетной сферой, с институтами общественного призрения, как раньше говорили. И соответственно социальная философия превратилась в каком-то смысле в вариант такой работы, особенно если речь идет о государственных вузах. Такая специфическая социальная работа, не то чтобы интеллектуальный сервис, поскольку там более хитрые способы получения дохода. Но что-то такое, связанное с раскрытием смысла существования института общественного призрения и одновременно с функционированием в роли одного из таких институтов. Что-то в этом есть вызывающее толику жалости.

Для меня социальная философия (и в этом тоже заключается мое кредо) есть принципиально другое: это направление развития социальной мысли, которое, может быть, определит собой философию XXI века, не побоюсь сказать так, потому что в области философии, в области гуманитаристики произошел своего рода социологический поворот. XX век — это лингвистический поворот, и мы все знаем, какую роль играла лингвистика в формировании разнообразных философских дисциплин — от Витгенштейна до структуралистов, помним, какую роль сыграла “Общая лингвистика” Фердинанда де Соссюра и “Общая фонология” Трубецкого на становление гуманитарной или обществоведческой мысли. Теперь такую же роль будет играть социология, потому что нельзя ни один онтологический вопрос задать вне контекста социального, социологического вопрошания. Это и обозначается как некий социологический поворот.

— *Именно социологический — не социально-антропологический?*

— Если социальная антропология является дисциплиной, которая онтологически ангажирована, которая задумывается о том, как бытие сопряжено с социальным, то можно назвать его и социально-антропологическим пово-

ротом. Но вопрос о бытии в контексте вопроса о социальном — вот самое главное. Дело не в “этикетке”. Нельзя говорить о социальном, не затрагивая вопроса бытия, человеческой экзистенции; и нельзя говорить о человеческом бытии, человеческой экзистенции, не касаясь социального.

— *Какие крупные фигуры, на ваш взгляд, обозначают новые направления и, возможно, будут определять состояние социальной философии?*

— Их не так мало в современном мире. Но со многими из них судьба сыграла злую шутку. Есть мощное и (не знаю, хорошо это или плохо) до сих пор влиятельное направление — постструктурализм. Это Фуко и многие другие, такие как Барт, Деррида, Делёз, Гваттари. Только сейчас, после их смерти, мы можем осознать, насколько это крупные фигуры. Бесконечно их цитирование, риторизация их текстов, когда они затираются, превращаются в некое подобие разменной монеты. Не случайно говорят о том, что Фуко — ругательное слово в теоретическом глоссарии, играя на написании этого имени (Foucault — F-word). Бесконечны ряды феминисток, которые постоянно ссылаются на Фуко, не мыслят и шага без Фуко, и т. д. Все это, несомненно, работает против фукианской мысли, в частности против ее актуальности. Нельзя бесконечно актуализировать нечто, потому что именно жест актуализации лишает актуализируемое всякой актуальности.

Думаю, что очень интересна немецкая философская мысль, в частности наследие Н. Лумана. Мысль Лумана интересна тем, что он попытался соединить системно-функциональный анализ, который, казалось, уже изжил себя, отжил свое, с исследованием истории, исследованием случайного, ситуации неопределенности, риска, конфликта. Для меня очень значимы работы Ю. Хабермаса, представляющие повод для бесконечных возражений.

После таких крупных социологов, как Пьер Бурдьё, критическая теория не может не снабжать себя некими ресурсами для самокритики и саморефлексии, потому что он блистательно показал, что без этого она уже невозможна. Энтони Гидденс рассуждает об обществах постмодерна, о

так называемой структуризации, о тех образованиях, которые не могут быть интерпретированы в терминах традиционного системно-функционального анализа. И именно на уровне выявления этих образований сейчас как бы и позиционирует себя социально-философская, социально-теоретическая мысль и гуманитаристика в целом. Это, безусловно, возвращает нас к вопросу о структуре, понятии, которое приобретает сейчас отчетливо онтологическое звучание.

Начало тому положил, на мой взгляд, Клод Леви-Строс, к работам которого я обратился как только поступил на философский факультет. Чтение Леви-Строса захватило меня тогда полностью. Подобно любовной страсти это было интуитивное и безотчетное увлечение. Более всего в его текстах нравилось мне образцовое для социальной и гуманитарной науки сочетание “прикладной” и философской увлеченности. Быть может, именно Леви-Строс впервые представил нам нечто вроде практикума по превращению философского размышления в полевое исследование.

Вообще, я против традиционного канона “посвящения в философию”. Он предполагает очень простую постановку вопроса: философия берет начало в античности, и причаститься философских даров мы можем, только если сразу обратимся к чтению древних авторов. В противовес этому я считаю, что вхождение в философию можно осуществлять “с разных сторон”, в том числе и с чтения современников. Тут все может служить первоначальным толчком.

Но все-таки главное: не понимая, что философия вершится только *здесь и сейчас*, мы рискуем с легкостью превратить ее в музейный раритет.

## А.В. Кураев Задача-минимум — “поставить” вкус к религиозной МЫСЛИ

— *Сейчас нет недостатка в утверждениях, что мы живем уже в новую эпоху. Так или иначе, но переживаемое нами время рассматривается как критический момент в истории цивилизации, как период перехода человечества в качественно новое состояние. Что можете сказать в данной связи вы, Андрей Вячеславович, — выпускник и преподаватель философского факультета МГУ, профессор богословия? Отвечает ли это вашему мироощущению?*

— Новая эпоха? Может быть... Но всякая ли новизна достойна радости? Для меня в словосочетании “новый мировой порядок” ударение стоит на слове *ordnung*. Прежде всего потому, что появились непредставимые в былые времена возможности управлять жизнью общества и отдельного человека, контролировать их.

Современные технологии масс-медиа позволяют вскрывать наши мозги без трепанации черепа. Статистика говорит, что у сегодняшних семей больше телевизоров, чем ванн, из чего следует, что мозги люди промывают чаще, чем что-либо остальное. Так что, с одной стороны — невиданные возможности промывать мозги каждому из нас, с другой стороны — небывалая неприглядность человеческой жизни.

И то, что тиранические режимы XX века, будь то гитлеровский или сталинский, отжили свое еще до появления массового телевидения, — это, конечно, своеобразная милость Истории или промысла Божия.

Власть — это прежде всего информация. Идеал власти — возможность в режиме *on-line* получать информацию о поступках, движениях, словах отдельного человека. Преды-

душие режимы, какими бы тираническими они ни были, просто технологически не имели такой возможности. Сегодня же каждый человек компьютерно прозрачен. Технологии слежки, показанные в голливудском фильме “Враг государства”, — это не выдумка. Уже и в самом деле принципиально возможно спутниковое наблюдение за отдельным человеком (хотя оно еще и слишком дорого). У людей появляются электронные имена, документы, деньги, на них заводятся электронные досье. В современном западном обществе исчезает анонимность потребителя, зрителя, даже читателя: электронные деньги позволяют фиксировать, какие именно информационные продукты покупает человек. А из этого легко сделать вывод о его политической и идейной ориентации.

По моему убеждению, тот факт, что на телевидении во всем мире, не только в России, появились проекты типа “За стеклом”, имеет некий политический подтекст. Это не просто шоу. Людям, особенно молодому поколению, пробуют внушить, что, вообще-то говоря, жить голеньким — это нормально. Жить в прозрачном аквариуме — модно, престижно, в этом нет ничего плохого. Нам готовится жизнь аквариумных рыбок.

В былые времена определенные группы людей (скажем, те же староверы или казаки) просто уходили из общества, с которым у них были конфликты. Уходили и жили, соглашаясь быть маргиналами. При новом мировом порядке даже это оказывается почти невозможным. В условиях глобальной “макдональдизации” всюду пережевывается одинаковая информационная, идеологическая жвачка. От планетарного государства уходить некуда. И спрятаться от него мало кто сможет: современный человек, при всей своей видимой свободе, на самом деле чрезвычайно зависим; он не умеет жить натуральным хозяйством, а живя в городской квартире, должен оплачивать какие-то блага цивилизации, которые потребляет. Значит, ему нужен легальный путь получения денег, а следовательно, нужно согласие и с властной идеологией.

А кто может дать гарантию, что у государственной власти не появятся со временем свои идеологические пристрастия? Так вот: если однажды у социальной элиты обна-

руются свои идеологические симпатии и антипатии, то это будет означать, что в современном западном обществе, частью которого является и Россия, возникнет самое жесткое в истории тоталитарное государство.

Проблемы этой грядущей идеологии уже заметны. Они достаточны, чтобы насторожить христиан. Например, летом 2001 года Ги Ферхофштадт, премьер-министр Бельгии и в ту пору председатель Европейского союза, опубликовал статью, обращенную к антиглобалистам. Это действительно странные ребята, придерживающиеся левых взглядов (маоисты, троцкисты и т. д.). И вот председатель Евросоюза попробовал их на этом поймать. Как же так, писал он, вы — крайне левые, но ваши антиглобалистские выходы сближают вас с крайне правыми политиками и идеологами типа фашистов, расистов, нацистов и — дальше уже буквальная цитата — “религиозных фанатиков, которые считают, что и в наши дни можно жить и умирать по Библии или Корану” (Ги Ферхофштадт. Парадокс глобализации // Евробюлетень. Інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні. 2001, окт. С. 4). Понимаете, когда первое лицо Европы заявляет, что жить по Библии — это не “комильфо”, у христиан есть основания “напрячься”, задуматься над тем, в какой мере нынешние стандарты политкорректности, политического преуспевания соответствуют тому, что заложено в христианской этике, в христианском мировоззрении.

Еще одна новость из Новой Европы: 12 марта 2002 года Европарламент одобрил радикальную феминистскую резолюцию, содержащую нападки на католицизм, православие и антиабортное движение “про-лайф” (в защиту жизни). Проект резолюции, озаглавленный “Женщины и фундаментализм”, был вынесен на рассмотрение европейских парламентариев еще в октябре 2001 года по инициативе депутата от Испании Марии Искьердо Рохо. С критикой текста выступила парламентарий от Ирландии Дана Розмари Скаллон, отметившая, что статья 4 резолюции может быть истолкована как призыв к Католической церкви рукополагать женщин. Эта статья, в частности, гласит, что Европарламент “осуждает административные органы религиозных организаций и лидеров экстремистских политических дви-

жений, способствующих расовой дискриминации, ксенофобии, фанатизму, а также недопущению женщин на руководящие посты в политической и религиозной иерархии”. Помимо этого, статья 23 резолюции призывает не принимать в состав Евросоюза страны, в которых человеческая жизнь охраняется законодательно с момента зачатия, а статья 31 гласит: “Европарламент призывает верующих любых исповеданий выступать за равные права для женщин, в том числе за их право контролировать свои собственные тела и решать, когда им заводить семьи...”. Статья 33 заходит еще дальше, призывая Папу Римского и Патриарха Румынского изменить свое отношение к гомосексуализму. Европарламент, говорится в этом пункте резолюции, “выражает поддержку лесбиянкам, оказавшимся в тяжелой ситуации и страдающим от фундаментализма, и призывает религиозных лидеров, включая Румынского Патриарха и Папу, изменить отношение к этим женщинам”.

Комментируя новую резолюцию по радио Ватикана, кардинал Роберто Туччи назвал ее “плодом фундаменталистского секуляризма”. “Эта мания навязывать Церкви определенные правила поведения, исключая ее из общественной жизни, свидетельствует об образе мысли, совершенно противоположном светскому духу”, — сказал кардинал. Он выразил обеспокоенность тем, что данная резолюция сможет оказать негативное воздействие на составление Европейской конституции.

А посмотрите — как Европейский парламент принимает Хартию прав человека, которая должна прийти на смену Декларации прав человека. В этой Хартии содержится параграф, запрещающий дискриминацию при приеме на работу в зависимости от пола и половой ориентации. Если бы здесь говорилось, что запрещены такого рода предпочтения при приеме на госслужбу, в государственные структуры, — это было бы нормально. А когда подобный запрет налагается вообще на все объединения людей, то это уже очень серьезно для религии. Традиционные религии, где есть институт мужского священства, или, скажем, религии, интерпретирующие гомосексуализм как грех, соответственно, оказываются вне закона, то есть они уже не смогут функционировать как субъекты публичного права.

Считать ли все это случайностями? Но дискуссии вокруг проекта Европейской конституции не позволяют отделаться столь легким ответом. В преамбуле Евроконституции сказано, что культура и история Европы созданы под влиянием античного наследия и идеологии Просвещения. О христианстве — ни слова. Само по себе это умолчание было бы обычным, если бы не упоминание лишь одного из идеологических течений европейской истории, а именно Просвещения. Почему из всех философских школ была с благодарностью названа лишь одна — отнюдь не самая глубокая, но зато самая антицерковная?

Такого рода колючек, ранивших христиан, в современной идеологии “политкорректности” немало. Для христиан все это вещи довольно узнаваемые, потому что когда-то нас преследовали в Римской империи по очень похожему мотивам. В те времена начала христианской веры церковь вошла в конфликт с империей именно потому, что христиане отказывались “широко” смотреть на вещи. Их гнали не за то, что они верили во Христа, а за то, что не оказывали знаки почтения официальным государственным культам (“ну, что вам стоит возложить щепотку ладана перед этой прекрасной статуей работы Фидия, умеете не настаивать на истинности вашей веры, ее уникальности”). Христианам выкалывали глаза, требуя от них широты взглядов.

Те же упреки христианам бросаются и сегодня. Увы, исторический опыт нас учит, что от менторско-осуждающей нотки, когда нас тихонечко журят за недостаточную открытость современности, и до прямых гонений дистанция может оказаться весьма короткой.

Наконец, есть третья проблема, характерная для современного общества: человек впервые в состоянии конструировать себя (и путем генной инженерии, и тем же идеологическим путем). Марксова мечта — с помощью социальной инженерии создать нового человека — в XIX веке была лишь утопией, а сейчас, при современных технологиях, в том числе социальных, появляется возможность ее осуществить. И здесь Церковь предлагает не спешить. У новатора, прогрессиста чешутся руки: попробовать новые игрушки. У консерватора беспокойна совесть: сначала лучше обсудить, каковы возможные моральные критерии

при применении тех или других новых технологий, каков возможный человеческий и общественный контроль над ними. До какой степени удастся сдерживать применение этих технологий? Вопрос остается открытым.

— *Вы считаете, что уход в этот консервативный мир — спасение? Тот именно путь, что позволяет остаться самим собой, не дать себя поглотить убыстряющемуся потоку нововведений?*

— Чтобы не быть заложником современной идеологии, надо уметь смотреть на происходящее со стороны. У каждой культуры есть свои бельма на глазах (“это кажется очевидным... разве можно считать иначе... ведь все так считают...”). И у прежних эпох были свои бельма. Но они находились в других местах, а потому в чем-то были более зрячими, чем мы. Надо уметь быть сложным, а не одноклеточным; надо владеть техникой современного мира и при этом питать свое сердце Достоевским и Августином, а не мыльными телесериалами.

— *Вам это подсказывает и собственный опыт? Почему вдруг случился столь резкий поворот в вашей жизни и мировоззрении?*

— У Пастернака есть замечательная строчка: “Не потрясения и перевороты для новой жизни открывают путь, а откровения, бури и щедроты души воспоминания чьи-нибудь”. То, что происходит во внутреннем мире человека, бывает гораздо важнее того, что происходит на каких-то политических баррикадах. Для меня такими событиями стали две книги. Сначала в отцовской библиотеке я разыскал “Архипелаг ГУЛАГ”. У нас до сих пор есть это издание. Отец тогда прятал его под суперобложкой книги Копнина, название которой было столь тоскливо-диалектическим, что была гарантия: никто такую книжку случайно в руки не возьмет и листать ее не станет, так что она вполне открыто даже мне мозолила глаза несколько лет. Знакомство с “ГУЛАГом” (а я был первокурсником) уже тогда избавило меня от прогрессистского мифа: “ориентация толь-

ко на будущее, с каждым десятилетием новым поколениям все лучше и лучше...”. Подростком-то я жил в мире фантастики, где будущее рисовалось феерическим, а прошлое однозначно темным... После Солженицына стало понятно, что с советской идеологией мне все-таки не по пути.

А затем, года через два, прочитал “Братьев Карамазовых”, что заставило уже всерьез задуматься над христианством. Я не читал эти книги, я ими болел...

На философский факультет МГУ я поступал в силу семейной традиции. Правда, ушел на кафедру атеизма, чтобы изучать немарксистские взгляды на жизнь. Но учили меня, конечно, не вере, а технике ее разрушения у других людей. В этом была нравственная неправда: получалось, что я учусь разрушать веру другого человека, не умея ничего предложить ему взамен. Даже если его вера неправильная, но у меня-то вообще никакой веры нет. С другой стороны, меня больно укололи своей неоспоримой правотой слова о. Сергия Булгакова: “Неверующий человек, занимающийся изучением религии, подобен евнуху, который сторожит чужой гарем”.

Так что я решил поставить на себе эксперимент и понудить себя войти в мир Церкви. Причем именно церкви Православной. Я сказал себе: “Если Бог и в самом деле есть, то ты не первый, кто пришел к такому выводу, и поэтому, прежде чем говорить что-то свое, изучи то, что уже было”.

Ну и немножко мистики, конечно, тоже присутствовало. Один из самых поразительных моментов в моей жизни: когда я был еще совершенно атеистическим теленком, на лекции куратора Православной церкви из Совета по делам религий (товарищ Варичев читал у нас такой полусекретный спецкурс — “РПЦ сегодня”) я слышу, что в Духовных академиях РПЦ сегодня пять “профессоров богословия”. И вдруг меня пронзает ощущение, что это про меня, что я должен быть среди них, в этом мое призвание. Я сам удивился, как это у меня, атеиста, вдруг всколыхнулось сердце при упоминании о преподавателях богословия...

Через некоторое время — опять подобный инсайт: нам цитируют статью из Журнала Московской патриархии с упоминанием о семинаристах, и снова промелькнуло ясное ощущение: это мой мир, я почему-то должен оказаться там.

А спустя год узнал, что мое детство прошло в здании семинарии (отец в то время работал в Праге, в международном журнале, и редакция располагалась в бывшей католической семинарии).

— *Но оказавшись в новом, теперь уже вашем мире, удивившись в нем, вы вернулись в МГУ, чтобы преподавать на том же философском факультете. Что-то к этому побудило?*

— Что ж, это был еще один такой странный инсайт: почему-то, еще только поступая в семинарию, я мечтал все-таки вернуться в МГУ. По тем временам это казалось совершенным безумием. Я, конечно, и тогда встречался со студентами, но это было “тайнообразующе”. Тогда и представить было невозможно, что я снова появлюсь в МГУ, и тем не менее... Я и там, и там, причем не я один. Многие выпускники университета сейчас в Церкви. Помню, был в МГУ прием, на котором присутствовали и ректор В. А. Садовничий и Патриарх. Когда слово предоставили мне, я сказал, что пора признать очевидность: “Ваше святейшество, прошу Вас объявить о том, что Московский государственный университет официально является высшей духовной школой Русской православной церкви”.

В университете немало молодых людей, которые пред лицом глобализации задумываются над тем, кто же мы такие в этом общепланетарном, но при том все-таки слишком западном мире? Начинают читать русских философов. Через них — к Отцам...

— *А что вы хотите сказать своим сегодняшним студентам? Как вы сами себе представляете смысл и роль вашей научной, церковной, общественной деятельности?*

— О нынешних студентах у меня в общем хорошее впечатление, хотя бы по тому, что обязаны меня слушать 12–15 человек, специализирующихся на кафедре религиоведения, а реально сидят и слушают раз в пять больше. Значит, есть интерес. Поначалу, наверно, им было непри-

вычно, что лекцию читает человек в рясе. Но я им сказал: надеюсь, вы достаточно терпимы, чтобы разрешить мне носить одежду, которая мне нравится; а в остальном отнеситесь ко мне как к обычному преподавателю.

Главная моя цель — “поставить” им вкус к религиозной мысли (акцент на втором слове). Это задача-минимум, чтобы потом они уже обрели какую-то меру защищенности и гарантированности от сектантского болота. Сохраниться в качестве светски мыслящего человека в наше время уже очень немало.

Конечно, как человек и как преподаватель я был бы рад, если бы для кого-то из них мой мир стал их миром, но это отнюдь не является задачей курса. Моя задача — просто показать им: вот там, за той дверью, которая для вас пока закрыта и на которой написано “православие”, есть пространство, где можно жить. И с первой же лекции поясняю: существуют две разные интеллектуальные процедуры — объяснить и доказать. Я не могу вам доказать троичность Бога или что креститься надо тремя пальцами, а не двумя (либо наоборот), но могу объяснить. В религии много недоказуемого, но нет ничего бессмысленного.

В моем обращении к церкви многое значило детское увлечение фантастикой. Это я потом понял, что на философском языке фантастика — это привитие человеку навыков феноменологического мышления. Феноменология интересуется смыслом, а не правдой. Дело не в том, так “на самом деле” или нет. Феноменолог анализирует текст, изначально воздержавшись от суждения о его “истинности”. Важна внутренняя логика сюжета, переключки смыслов. Если ты принял некоторые условия фантастического романа, дальше ты следуешь этим правилам игры. Вот и встретившись с миром религии, поначалу именно так, феноменологически я к нему и относился. Для атеистически воспитанного человека нельзя было сразу поставить вопрос: правда это или нет, воскрес Христос или не воскрес? Но прежде чем сказать для себя “да”, он может попробовать понять: если “да”, то... То есть начать понимать внутреннюю логику православия. И однажды воля говорит разуму (именно так — не уму, а воле дано решать, что есть, а чего нет): все, я хочу жить именно в таком мире, где есть

вот это, я хочу, чтобы это было всерьез. Игра кончается, начинается жизнь.

— *Сейчас многие обращаются к церкви. Вы верите, что искренне?*

— Мне не нужно верить, я это вижу.

— *Ну, когда видишь на телеэкране наших начальников со свечками...*

— Почему сразу разговор о них? Миллионы людей искренне пришли в церковь, а тычут в глаза десятую лицезерами! Посмотрите, в России, скажем, в 1988 году было всего три монастыря. Сейчас же — более 700 монастырей. И на каждого монаха, живущего в обители, приходится человек сорок, которые пробовали, хотели, но не смогли понести этот крест. Но раз пробовали, то желание-то было! Было желание всецело служить Христу! А это значит, что сотни тысяч людей весьма всерьез пережили обретение своей родной веры.

*А отчего люди, на ваш взгляд, туда бегут?*

— А кто сказал, что бегут? Нельзя в монастырь убежать, как нельзя жениться с отчаяния. Должно быть позитивное притяжение, даже влюбленность.

— *Наши коммунисты, и в частности их руководитель, нередко утверждают, что, отстаивая коммунистическую идею, они, по сути, выступают за христианскую идею справедливости. Вот он, социальный идеал! И если люди сейчас идут в церковь, обращаются к религии, то именно в поисках такого идеала. Это может быть реальным мотивом, по вашему мнению?*

— В таких случаях я вспоминаю французскую поговорку: “Дьявол прячется в деталях”. Конечно, существует идеал христианского коммунизма, и как будто он похож на

ленинский коммунизм. Но есть одна маленькая деталь: христианский коммунизм исповедует тезис — “что было моим, пусть будет твоим”; марксистский же призыв к насильственной экспроприации означает — “что было твоим, пусть станет моим”. Это все-таки не совсем одно и то же, мягко говоря. А что касается мотивов обращения к религии... думаю, все же не в поисках социального идеала. Большинство сегодня приходит в храм, действительно убегая, но не от социальных проблем, а от магических.

— *Например?*

— Многие попробовали заниматься магией, оккультизмом, а теперь приходят в храм как подранки духовные: защитите и спасите. Начиналось с мелочей — “раз в крещенский вечерок девочки гадали”, — а потом там такое явилось, что голливудские мистические ужастики показались репортажем с места событий...

— *Ну, это поветрие какие только формы сейчас ни принимает.*

— Нет, только со стороны кажется, что поветрие, а это очень серьезно. И серьезно сказывается на жизни людей. Достоевский говорил: “Дьявол с Богом борется. Поле битвы — сердца людей”. Черный религиозный мир крайне опасен.

— *Не так давно в газете “Известия” прошла заметная дискуссия “Наука и религия”. Довольно длительная и на очень высоком уровне, с привлечением авторитетных имен. Была проявлена отнюдь не стандартная — искренняя озабоченность. Чем, по вашему мнению, и почему?*

— На призывы “синтеза науки и религии” я реагирую сдержанно: “Чем выше забор, тем крепче дружба”. Профессионал всегда знает границы своей компетентности, границы применимости своего метода. Когда это забывается, порождаются идеологии: научно-атеистическая, оккультно-теософская или инквизиционная. Между идеоло-

гией эпохи сциентизма и современным оккультизмом есть общая черта: воля к власти. Фаустовская идеология (Фауст ведь ученый и колдун в одном лице). Различие между верующим человеком и колдуном в том, что верующий человек поклоняется Богу — Тому, Кого он сам ставит выше себя. Колдун же считает, что он может манипулировать духовной реальностью. Она ему кажется послушной его формулам, его власти. В этом отличие молитвы от заговора. Молящийся человек просит, колдун приказывает. Пример заговора-приказа: “Встань передо мной, как лист перед травой”. У сциентистов та же установка на обладание: “Мы не можем ждать милостей от природы”... У технаря, начинающего исследовать религиозную область, часто сохраняется прежняя установка на исследовательское, а потом и практическое покорение, препарацию. И дальше начинается то, к чему пришел академик Раушенбах: математическая формула Троицы. Он был верующим человеком, но эту его формулу я признать не могу.

— *А это не любопытно?*

— Это редукционистское мышление. Вот в том и отличие оккультизма от религии. И не случайно отсюда симпатия оккультизма к буддизму, потому что буддизм радикально редукционен: никакой целостности мира не существует, а существуют только элементарные психические атомы. Такие проекты озабочены скорее тем, чтобы увидеть безликие структуры за человеком, нежели человека за безликими структурами.

— *Есть такое суждение: все мировые религии при всем возможном различии имеют общий моральный знаменатель. И выстраивается такой логический ряд: моральные нормы как основа единства религий; а на этом основании — столь необходимый сегодня диалог цивилизаций. Как смотрите на это вы?*

— Верно: наиболее продуктивный путь диалога религиозных культур — размышления об этике. Но в собственно религиозной области различия очень велики.

Если мы поставим вопрос, как религия исполняет свое призвание, то есть вдохновляет человека на поиски высшего, поиск Бога, связь с ним, какие средства для этого предлагает, то здесь различия совершенно поразительные. Начиная с того, что есть тот же буддизм как атеистическая религия, в которой просто нет понятия Бога. Значит, в самой сердцевине своей это уже абсолютно другая религия. Существует классический памятник христианской литературы, который явно испытал влияние Индии, — повесть о царевиче Иоасафе и Варлааме. В общем-то жизнь царевича — несомненная калька жизни Будды. По этому поводу иногда на журналистском уровне говорят, что Будда канонизирован христианской церковью под именем Иоасафа. Но скорее всего не буддисты принесли этот сюжет на Запад, а христианские миссионеры в Индии попытались переложить узнаваемые для индусов ситуации на христианский лад.

Сама история достаточно известна. Живя во дворце, царевич не знал, что такое страдания, смерть, старость, болезни, его окружали только прекрасные молодые люди. А однажды, во время прогулки в город, увидел человека, состояние которого его потрясло. Он спросил: “Что с ним?” Ему сказали: это болезнь. Потом увидел старика. “Он болен?” — “Нет, просто старик”. Наконец, увидел труп, что стало шоком. Оказывается, люди болеют, стареют, умирают. И оказывается, тот кружок счастья, в котором он жил, не есть весь мир, а это некая иллюзия, искусственно созданная. И царевич меняет свою жизнь, уходит из дворца, становится отшельником и т. д. Легенда красивая и общеизвестная, но интересно сопоставление разных ее вариантов. В канонических буддистских текстах царевич не сам решает выйти из дворца и посмотреть на городскую жизнь, это делают боги. Они рожают в нем такое желание, они ставят спектакль, создавая иллюзию старика, больного и т. п. В христианской же версии: царевич сам, еще до встреч в городе, желает стать другим, нежели отец, пойти самостоятельным путем. Иначе говоря, в буддистской канонической литературе он становится жертвой заговора богов; в христианской же повести подчеркивается его личностная активность, стремление вырваться из привычного течения жизни.



От различия философий родится и различие этик. Если все сущее я считаю иллюзией, в таком случае этика получает довольно мало обоснований. Вершинные тексты буддистской философии говорят, что нельзя спасти другого человека, ибо нет того, кого ты спасаешь, и нет того, кто спасает. Таким образом, и мое собственное Я — это иллюзия, и ваше Я — тоже иллюзия. И потому высшим оказывается идеал недеяния: не порождай никакой кармы, даже доброй; все, что есть, должно распасться. Христианский идеал совершенно другой — увековечивания личности. Исходя из христианской позиции, я должен любить вас не потому, что вы есть я (по формуле индуизма); вы — не я, вы — другой, и именно как другому я и должен послужить вам.

В конце концов, разными становятся и социальные проекции этики и религиозной философии. Например, Махатма Ганди, вроде бы чистейшая душа, достаточно резко высказывался против создания больниц. Он считал это ненужным. Каждый должен изжить свою карму. Если ты болен, если ты поражен проказой, значит, заслужил это прошлой жизнью. И не надо мешать течению кармы. В Индии до сих пор большинство больниц — результат деятельности христианских миссионерских центров.

Этика не может рассматриваться сама по себе, вне религиозной аксиоматики. Культура — целостный организм: даже богословие и математика тесно связаны между собой. После Шпенглера просто даже не интересно делать на этом акцент. Но что меня все время удивляет в современной интеллигенции: вроде бы все читали и Шпенглера, и Тойнби, и Хантингтона и вдруг запросто говорят: “Да не важно, во что они там верят, лишь бы человек хороший попался”.

— Хантингтон, известно, рассматривает будущее человечества как столкновение исламской и христианской цивилизаций. Вы склонны это поддержать или оппортировать?

— На мой взгляд, позиция Хантингтона слишком оптимистична. Беда в том, что христианский Запад сам себя сожрал изнутри. Он не христианский уже. И в этом про-

blems аллергии исламского мира на Запад. Если бы Запад был христианским, легче было бы найти общий язык. Есть все-таки более или менее общая иерархия ценностей, и, скажем, в России православные и мусульмане прекрасно друг друга понимают. У нас общее неприятие воинствующего западного гедонизма. Классический христианский мир и ислам поняли бы друг друга, поэтому сейчас нет их противостояния, а есть довольно интенсивно идущее изживание остатков христианства в западном мире. На руинах христианской цивилизации строится технотронная гедонистическая цивилизация, которая будет противостоять всем религиозным традициям в мире. Это классическое противостояние цивилизаций сотериологических и гедонистических. Сотериологические — средневековая Европа, Древний Египет, цивилизация Стоунхэнджа — всюду, где человек придавал трансцендентный смысл своей жизни. Даже большевистская цивилизация была сотериологически-жертвенной (и исчезла, как только перестала пересуществовать религиозно).

— Вы активно выступаете за то, чтобы уже с детства знакомить людей с церковным учением, даже ввести в школах специальный предмет. Однако религия, церковь не могут играть в жизни человека большую роль, занимать большее место, чем он сам им отводит?

— Выбор ведь очень простой: или мы оставляем людей (и маленьких, и больших, и детей, и учителей) наедине со стихией религиозной иррациональности, в мире бескультурья, в мире примитивнейших религиозных и магических практик, которые сегодня проповедуются на каждом углу; или мы даем им возможность прикоснуться к традиции человеческой мысли на религиозные темы.

История преподносит неожиданные сюрпризы. Ну, кто бы мог подумать, что в начале XXI века судьба человечества окажется в руках богословов? А это и в самом деле так, правда с тем уточнением, что речь идет о богословах мусульманских. Исламская умма (церковь) устроена иначе, чем православная или католическая общины. Умма управляется учеными; личное образование значит больше, чем

прохождение через церемонию посвящения. Голос ислама — это голос улемов, знатоков богословия. От них сегодня, скажем, зависит, как будет истолкована кораническая заповедь джихада. И из Библии, и из Корана можно вырастить “богословие любви”, а можно сконструировать “богословие ненависти”. Разве человеку, обществу это все равно? Потому, я считаю, так важно сегодня учить людей не отождествлять случайно услышанное ими мнение с церковным учением. Для этого и нужна церковная воспитанность.

Кроме того, основы православной культуры — это и рассказ о том, как не потеряться в Церкви, рассказ о ее сложности; том, что даже святые не всегда были согласны между собой; о том, что не надо и сегодня бояться дискуссий. Предупрежденный об этой сложности человек поостережется ломать свою судьбу о совет случайно встреченного монаха, призывавшего (ввиду наступления “последних времен”) разрушить обычную колею жизни, семью, бросить работу или институт. Человек, знающий основы православной культуры, готов к тому, чтобы при встрече с такими наставлениями хотя бы про себя сказать: в Церкви есть и иные мнения по этим вопросам.

— *Насколько известно, в церковных кругах разрабатывается своя социальная программа. Что такое социальная программа Церкви? Если она предусматривает некий выход на общество, на те проблемы, которые не удастся решить светской власти, то как это пересекается в двух различных мирах?*

— Вернее говорить о социальной концепции. И речь не о том, чтобы предложить обществу какую-то программу действий. Речь идет о том, чтобы мы, церковные люди, сами осознали для себя возможные координаты нашей оценки тех или иных вызовов современности. Проблемы биоэтики, генной инженерии, контрацептивов, клонирования — это новые вызовы, на которые не могли ответить богословы прошлых веков. Вопросы новые, но ответить на них мы должны как люди ортодоксальной христианской традиции. Потому наша концепция вызвала немалый интерес у западных богословов. На Западе социальные доктрины тех

или иных церквей известны давно. Но у них есть вполне сознательная установка на обновление. Русская же церковь сознательно позиционирует себя в качестве ортодоксальной, консервативной, и при этом в обществе, которое радикально меняется, где трансформация происходит гораздо быстрее, чем, например, в Бельгии или Италии. Следовательно, к нашей концепции интерес особый: как все это совместить?

Но изначальной установкой при разработке нашей социальной концепции было уйти от политики. Мы исходили из того, что социальная концепция Русской православной церкви — это концепция для всей Церкви, а не только для России... Иными словами, она адресована православным людям и в Прибалтике, и в Молдавии, и на Украине, и в США, и в Германии, и в Японии, — поэтому там нет оценки деятельности российских правительств и вообще никак не упоминается политический контекст современной жизни в России.

В чем-то мы разошлись с современной светской этикой, и главной точкой конфликта стал вопрос о том, что есть человек. Светская этика, биоэтика в понимании этого стремится, как ни странно, сузить границы человеческого феномена. Наша задача — их расширить. Отсюда и отношение ко многим “земным” человеческим проблемам, к допустимости и перспективам того или иного рода экспериментов.

— *Скажите, Андрей Вячеславович, а к кому все же прежде всего обращается сегодня церковь? Судя по выступлениям некоторых иерархов (отца Кирилла, например), вы обрели новых верующих в городах, особенно в крупных городах. А на селе их практически нет. И церковь как бы ставит перед собой задачу: “вернуть верующих на селе на новой основе”. Любопытно, вроде как все перевернулось. Понятно, что ушли какие-то поколения, привычные для местных приходов старички и старушки... Но почему сейчас — именно крупный город?*

— Еще в 1999 году в книге “О нашем поражении” я писал, что сегодняшнее православие — это урбанистическая

религия, причем в наших городских храмах практически нет рабочих. Как-то в Московской духовной академии проходил “круглый стол” на тему “Церковь и молодежь”. Наиболее здравым там было выступление одного провинциального батюшки, отца Бориса Нечипорова, выпускника психологического факультета МГУ, избравшего полем своего служения не Москву, а районный городок Конаково в тверской глубинке. И вот отец Борис говорит: “По тому, что я вижу в своем городе, есть только одна группа молодежи, в отношении которой у нас есть надежда, что мы сможем о чем-то говорить, понять друг друга. Это те, кто занимается в клубе боевых искусств. Все остальные — или пьяные, или уже “на игле”. Беседовать о душе, вечности, смысле жизни, Боге можно только с трезвым человеком. Да, и пьяница с радостью поговорит, но ничего не поймет, не запомнит и выводов не сделает. Трезвыми же бывают только ребята, которые занимаются спортом; а спорт для них — это в основном боевые искусства. Конечно, там насаждается, скорее, оккультная философия. И тем не менее есть какое-то общее проблемное поле”...

А мое выступление было следующим, и я говорю: по моим наблюдениям и опыту — как столичного жителя — есть еще и другая группа. Кроме “боевиков”, есть еще шанс найти общий язык с “карьеристами”. По той же причине: они хотя бы трезвы. Это те ребята, которые хотят чего-то добиться в жизни, а потому держат себя в форме, без водки и наркоты. Они поступают в престижные университеты, учатся думать. Вот с кем можно беседовать. Вот у кого мысль может перейти в веру.

— *А тех, всех остальных, — побоку?*

— Церковь ведь инвалид сейчас. Если бы мы были в таком состоянии, как Католическая церковь, например, у которой всего достаточно, начиная с земель, банков и кончая университетами, семинариями, тогда, конечно, можно было бы заняться маргиналами. Но Русская церковь сегодня в таком состоянии, что сама маргинализована. Когда сил мало, надо делать то, что можно. Грубо говоря, есть три участка поля. Одно все забито асфальтом...

— *А вы возделываете только чернозем.*

— Конечно.

— *Но, кажется, всегда функция Церкви была помогать сирым, убогим.*

— Этими социальными работами Церковь занималась только тогда, когда была мощной. Апостолы, то есть заведомое меньшинство в языческом море, не шли к бомжам. Апостолы не работали с пьяницами. Есть священники, у которых талант — общаться именно с такими людьми. Но повернуть всю Церковь к работе с маргинальными слоями — это самое страшное, что может сейчас произойти с Церковью. А именно в эту сторону нас тщательно подталкивают: идите к маргиналам и маргинализируйтесь вместе с ними. Моя позиция обратная — идти к элитам.

— *К успешным? Они и так успешны.*

— Во всех отношениях, кроме духовного... Хорошо, наш разговор понуждает меня дать православный вариант “веберовской” модели. Когда-то Макс Вебер показал, как оказались связаны между собой протестантская теология и становление раннекапиталистического общества. А может ли у православного человека быть мотивация к тому, чтобы добиваться мирского успеха?

Церковь не может отказаться от своей мечты о “симфонии”, ибо это вопрос о том, может ли остаться внехрамовая жизнь людей вне соотнесения с Евангелием. Не будем забывать, что вопреки современным евразийским толкованиям двуглавый орел — это герб Византии, и две головы означают отнюдь не Запад и Восток, а двойное возглавление единого имперского народа — светской властью и церковной. Идеал “симфонии” неустраним из православия. Но вопрос: “симфонии” с чем?

Главный итог размышлений русских философов на тему “Церковь и государство” состоит в том, что этот разговор надо вообще перевести в другую плоскость — не Церковь и государство, а Церковь и общество, Церковь и лю-

ди. Во многих традиционных обществах власть жестко иерархична и персонализирована. С одной стороны — царь, с другой — патриарх или римский папа. Между ними идет диалог, при этом патриарх выступает в роли духовного наставника царя. Это одна модель — традиционная византийская. В последние сто лет она уже невозможна.

Сегодня очевидно: вопрос не в том, чтобы договориться с Кремлем. Вопрос в том, чтобы люди понимали, что такое вера, как она может влиять на нашу жизнь — в нашей семейной жизни, и в экономике, и в политике. Не надо забывать греческие корни: политика — от слова “полис”, это публичная составляющая моей жизни, а экономика — от слова “икос”, это моя домашняя, частная жизнь. И христианин должен быть христианином везде — “и дома, и в школе”. Соответственно, возникает масса проблем, как в своем профессиональном служении оставаться христианином. Будь то судья, адвокат, журналист... Неочевиден, например, ответ на вопрос: во всякой ли школе может учительствовать христианин? Вопрос о допустимости работы христианина в языческой школе и о службе в языческой армии очень резко был поставлен в III-IV веках.

Мнения Отцов разошлись. Так что далеко не всегда очевиден ответ на вопрос, что можно и чего нельзя делать христианину.

В любом случае стоит помнить, что Церковь — это не только священники, но и миряне. И вот они-то могут работать в области массовых межчеловеческих отношений, то есть в политике. Тут, правда, важно одно условие: они должны это делать профессионально, качественно. Это вообще необходимое требование к любому патриоту России, к любому православному человеку: хочешь помочь России и Церкви — стань профессионалом. Не в смысле “профессиональным патриотом”, а в смысле “профессионалом в своей светской работе”. Если православный ребенок учится на тройки, он дает повод хулить свою веру — мол, он потому и верит, что ничего не знает! Православный учитель должен быть лучшим в школе (ну, хотя бы самым улыбочивым!), а православное перо — лучшим в газете.

В политике тем более надо уметь быть предельно аргументированным, корректным, трезвым. Демонстрация бо-

гословской эрудиции не должна подменять собою серьезных знаний по экономике, праву и социологии.

Пока в нашей церковной атмосфере не чувствуется желания воспитать таких людей. Всем заметно, что приходская атмосфера в наших храмах “старушечья”. Само по себе это не ново и не плохо. Всегда в храмах было больше стариков, чем молодых. И всегда Церковь этому скорее радовалась, нежели скорбела об этом. В отличие от светских организаций Церковь больше дорожит стариками, а не молодежью. Ведь задача Церкви — готовить людей к последнему переходу. Финиш важнее старта. “В чем застану, в том и сужу”. И если бы в наших храмах было много молодежи и не было бы бабуль, вот это было бы для религиозного сознания катастрофой (кстати, половина этой катастрофы уже налицо: у нас много бабушек и почти нет дедушек, то есть половина русских людей “финиширует” вне Церкви).

Малое присутствие молодежи в православных храмах не было бедой для Церкви в прошлые века. Наш “дом престарелых” охраняло сильное православное государство.

Сегодня у нас нет такой защиты. И с устрашающей правдивостью звучат слова одного русского мужика. Он живет в Саратове, прошел Афганистан, а в Церковь так и не пришел, но как-то точно подметил: “У меня есть друзья-татары, есть русские друзья. Я бываю в их мечетях, захожу и в наши храмы. Но смотрите: у них в мечетях стоят молодые, вдобавок мужики, а у нас — женщины, вдобавок старушки. Мы проиграем”.

Не может быть православной России без православной элиты. Делегировать в государственные и общественные элиты наших бабушек уже несколько поздно, можно только молодых. А чтобы они согласились идти этим путем карьерного роста (а как еще попасть в элиту?), их духовники должны привить им соответствующую мотивацию. Значит, в молодого прихожанина надо уметь заронять не только мечту о монашестве, но и нечто другое. Хотя бы часть из наших молодых прихожан и неопитов надо уговаривать оставаться в том звании, в котором они призваны. Ты хочешь служить Христу? Но это можно делать не только в рясе. Стань добротным профессионалом, добейся ус-

пеха ради Христа, а не ради номенклатурных благ. И то влияние, которое ты со временем сможешь приобрести, обрати на пользу своего народа и Церкви.

В библейской книге Судей есть притча об участии в выборах и карьере: “Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Гаризима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, и слушает вас Бог! Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья смоковнице: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревьям? Наконец сказали все деревья терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревьям: если вы по истине поставяете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские. Итак смотрите, по истине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем?” (Суд. 9: 8-16).

И я пробую пояснять на церковных собраниях: неужели не понятно, что со своими нынешними гипертрофированными страхами, с мечтой о православном гетто, с чаянием ухода “в келью под елью” мы гробим будущее православной России? Об этих двух разрывающих Россию тягах хорошо сказал Валентин Распутин: “И эти гонки на чужом были теперь во всем — на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом, как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся по-

хоронами. И казалось, что поровну их — одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю” (“Дочь Ивана, мать Ивана”).

Чтобы не слишком решительным было наше добровольное зарывание в подполье, в прошлое, я и пробую сказать: в православии достаточно силы, чтобы дерзить современности, чтобы отстаивать древнюю, средневековую систему ценностей. Но при этом в православии достаточно любви, чтобы видеть доброе и в мире современных людей.

И когда я защищаю “Гарри Поттера” или Интернет, “Матрицу” или рок-музыку, я это делаю не ради Голливуда, а ради России XXI века. Через самые разные сюжеты я хочу один месседж донести до молодежи: в Церкви есть место для вас. “Церковь” и “бабушки” — не одно и то же. Между словами “православие” и “средневековье” нет знака равенства.

— *Социологи отмечают доверие населения к Церкви как институту, но не стремление ориентироваться на ее ценности в личной и общественной жизни. Это так?*

— Пожалуй, что так. Вполне обычная потребительская установка. Человек готов потреблять позитивные для него переживания, связанные с Церковью, то есть отметить Рождество, Пасху или при случае потешить самолюбие (“я тоже православный”), но не готов на поступки во имя той веры, которую, как ему кажется, он исповедует; брать что-то из экзотического мира веры, но при условии что этот мир останется экзотическим, этаким туристическим пирожным. И, конечно, только брать, ничего не отдавать, ничем своим не поступаться...

Всем понятно, что в Церкви много императивов. А очень не хочется впускать императивы в свою жизнь. Но там, где нет повода к росту, нет усилий, там ничего и не растет. Потревожить такое болотце — значит причинить ему некое неудобство. И в этом смысле задача сегодняшнего проповедника и священника — разочаровывать людей. И я разочаровываю, когда говорю некоторым фактическим атеистам или язычникам: не обольщайтесь, у вас нет оснований считать себя христианами. Христианство предполагает то-

то и то-то, а в вашей жизни и даже в вашем сознании этого нет. Я не спрашиваю, поститесь ли вы, часто ли ходите в храм... — в эти вопросы я не вмешиваюсь. Но быть христианином — значит соглашаться с хорошо известными и вполне определенными мировоззренческими тезисами (“Символ веры”). Если вы их не знаете, или не соглашаетесь с ними, или противоречите им — вы не христианин. Сегодня, повторю, одна из задач священника — отталкивать людей от Церкви, готовя возвращение “оттолкнутого” с большей степенью осознанности.

Масса людей приходит: мы креститься хотим. Почему? А нам госпожа Люба сказала, что она нашу карму поправит, если мы окрестимся. Что делать с таким человеком? Крестить? Нет, иди к своей Любе. Или — или. Надо думать. Не просто слепо доверять любым рекламным заверениям любых проповедников, а знать, что в поисках Бога человек может сломать себе душу. Надо помнить технику религиозной безопасности.

Культура сомнения, культура мысли сегодня редка, поскольку современный стиль жизни строится на клиповом восприятии. Новостные и рекламные сюжеты, никак не связанные друг с другом, эстрадные номера, не имеющие общей идеи, телепередачи, взаимно аннигилирующие друг друга... Человеку не дают возможности вдуматься, вчувствоваться. Пестрая телелента несетя и несетя, зачищая голову и ничего в ней не оставляя... Что ж, тем более надо копить “подкожный жир”: личный опыт и книжные классические знания.

— Приходилось читать о том, как вы выступали с проповедью на рок-концерте в Петербурге, перед непредсказуемой аудиторией в 14 тысяч человек, цитируя Данте: “Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть — видят ли меня”...

— Это главный вопрос в жизни человека: нужен ли я миру или я просто космическая плесень?

## А.Г. Гордон Естествознание versus обществознание

— Александр Гарриевич, мы с интересом следили за циклом передач, которые вы довольно долгое время вели на телевидении и которые так и назывались: “Гордон”. У вас, как представляется, накопился уникальный опыт: общение с учеными-естественниками и гуманитариями позволяло сопоставить, синтезировать различные точки зрения в разных областях науки. Потому именно вам мы решили адресовать ряд связанных с этим вопросов. Интересно, как современное естествознание влияет на обществознание? Некоторые естественно-научные достижения и открытия явно выбивают камни из фундамента общественных теорий, которыми руководствовались. Что сейчас, по вашему мнению, движет миром, побуждает людей к гражданской активности, если рухнули увлекавшие нас идеалы? Из тех почти четырехсот передач, о которых вы говорили в одном из своих интервью, наверняка вырисовывается картина современного мироустройства, контуры будущего?

— Напротив, в упомянутом интервью я как раз сетовал на то, что не складывается такой картины. И мое мировоззрение не претерпело никаких изменений, несмотря на то что я единственный человек, который видел все программы. Я ожидал, что по диалектическим законам количество рано или поздно перейдет в качество. Но не перешло: то ли количество недостаточное, в чем я сомневаюсь, то ли качества и не могло быть, потому что это телевидение. Вот вы спрашиваете о взаимосвязи естественных и общественных наук. Естествознание versus обществознание? Опасения, которые возникали уже в самом начале, что междисциплинарного разговора не получится, подтвердились. Процесс

углубления ученых в точечную область знания — “разбегание по кельям”, как я его называю — зашел довольно далеко. Объем информации сейчас такой, что если человек профессионально занят какой-то областью биологии, то ему не хватает времени даже для того, чтобы изучить последние данные только в этой области, не говоря уже о том, чтобы поднять голову и посмотреть, что делается вокруг. Так и в математике или квантовой механике. У меня изначально была мысль: вот на досуге, расковавшись, он, может быть, и увидит что-то. И были “попадания”, случилось, нам удавалось свести тех же биологов с математиками, а программистов с физиками. Но это единичные случаи. Передача превратилась в научно-развлекательную, как я теперь ее определяю. Самое большее, чего удалось достичь и что даже стало в нашей программе рабочим моментом, — это эвристическое озарение с повышающейся самооценкой: “Я понял! О, как здорово!”. И всё. “И тишина”. Я списываю это не на формат передачи, не на свое неумение, а на отношение к телевизионному смотрению как развлечению.

*— И все же: ведь гуманитарии, которые смотрят естественно-научные циклы, наверняка задумываются, скажем, над тем, что если квантовая механика ставит под сомнение причинно-следственные связи, то и в сфере их интересов такой вопрос может стоять. Соответственно, возможно, это влияет на видение проблем социального свойства?*

— Вашими устами да мед пить. Есть несколько тем, которые я пытался “тащить”, в том числе в каких-то очень разных естественно-научных и фундаментальных преломлениях. Мы записали, например, передачу с Ази Штейнзальцем. Это раввин, хасид, интереснейший талмудист, автор перевода двух книг Талмуда на русский язык с огромным историческим комментарием. Такой типично еврейский мудрец. И он начал притчами и анекдотами доказывать, что не может жизнь человека существовать в человеческой формальной логике, а все подчинено диалектике. С примерами из квантовой механики и из личной жизни. Вот одна из тех тем, которые я пытался “тащить”.

Другая, скажем, называлась “Диалектическое мышление” — попытка объяснить квантовую механику с точки зрения формальной или неформальной логики. Собственно, это был подход с позиций религии, где формальная логика не применима: “верую, потому что абсурдно”.

Понятно, наверное, что человечество вступает в какую-то новую эпоху своего развития. Но в какую? Тот же Ази Штейнзальц говорил о трех этапах в становлении мира. Первый этап — до Книги, многобожие и все с этим связанное, греческая культура, Рим и т. д. Второй этап — собственно Книга и ее влияние на европейскую культуру во всем, что касается монотеизма и выстраивания отношений (причем, говоря о Книге, он подразумевал и Ветхий и Новый завет). И, наконец с его точки зрения, точки зрения талмудиста, пришло время Талмуда, особенность которого как раз и заключается в признании того, что есть некая синусоида в жизненном движении, и без диалектической логики, диалектического восприятия этого движения современный мир уже объяснить нельзя. Скажем, не было никакой логики в нападении США на Ирак, сколько бы ни говорили про ту же нефть (нефть — это даже не подоплека, это просто то, что бросается в глаза). А логика все же была какая-то совсем другая — логика завершения некоего этапа бушевского миссионерства: ему просто кажется, что после него ничего не будет; вот он сейчас должен завершить тот самый этап, потому и действует по этой логике.

И, по-моему, раввин прав. До остроумия прав. Я спросил: “А как же, интересно, тогда решается основной вопрос диалектической логики: есть Бог — нет Бога?”. Он опять перешел на притчи: “Представьте себе. Вы выходите на улицу. Лежит раненый человек. Как истинный верующий, зная, что все находится в руках Господа (в том числе и судьба этого человека), вы должны пройти мимо, дать Ему исполнить Его волю... Но вы же бросаетесь как последний атеист к тому человеку на помощь”. Вот в этом и есть диалектика — с его точки зрения.

То, что изменения происходят, — ну, это просто в воздухе чувствуется и слышен гул грядущих перемен. Но мы сейчас находимся как раз в такой точке развития, что лю-

бой прогноз, даже самый противоречивый, не поспеет за событиями. Вот те выводы, которые мне удалось сделать из разговоров ученых.

— *То есть логики в жизни быть не может?*

— Не может. Какая логика, кроме абсурдной, в стремлении ученых, скажем, ядерщиков, на новом поколении ускорителей провести эксперимент, который способен (теоретически) привести к созданию минимум — черной дыры, максимум — новой Вселенной? Какая логика может заставить их это делать? Это же даже не атомная война. То, что может произойти, они предсказать не в силах. Маховик раскручен, остановить его очень трудно. И у меня возникло ощущение (скорее образ, чем мысль), что человечество сильно уменьшилось в масштабе. Были какой-то путь, какая-то лестница к заветной двери. Вот мы сейчас ее откроем, за ней — счастье, изобилие и абсолютное понимание всего и вся. Каждое третье письмо на передачу, кстати: “Я открыл теорию всего”. Эта страсть к открытию “теории всего” — она и в физике, и в истории. Везде. Но вот мы подошли, дверь открыли, и мгновенно изменился масштаб, потому что там оказалось пространство еще большее, чем мы уже освоили. И человек опять стал маленьким-маленьким и испуганным-испуганным. Этот испуг сквозит даже у ученых, самых уверенных в правильности общей теории относительности. От социального испуга до колоссального вселенского...

— *Испуг, не страх?*

— Думаю, детский испуг. Страх — это все-таки нечто, с чем можно бороться. Преодоление или излечение. А испуг настолько рефлексивен и первобытен, что проявляется в растерянности и продолжении прежней жизни в абсолютно изменившихся условиях. Ведь это парадокс, что мы живем ровно так, как было до того, хотя все изменилось. Очень и очень странно.

Всякий раз вздрагивал, когда находил подтверждение этим выводам в очередной передаче. И тут удивительные

совпадения: самый большой отклик, начиная с псевдорейтингов и кончая посланиями в Интернете, на телефору, получали как раз те программы, где я вздрагиваю от того, что ожидаемое так или иначе материализовалось. Такой испуг был выражен где-то словами, где-то темой, иной раз просто отказом о чем-то говорить. То есть, как я понимаю, это очень многих заботит. Не волнует и не интересует даже, а настораживает. Что-то мы такое недоговариваем себе о том, что должно вот-вот произойти. Головокружительный успех имела передача с Капицей и Бестужевым-Ладой и даже была повторена в субботу в прайм-тайме. Но почему? Потому что они пугали “по-черному”, с цифрами в руках.

— *И вы говорите при этом о вашей программе лишь как о развлекательной?*

— Оттого что шла та передача, ни один из ее постоянных зрителей, с которыми я знаком, не стал ни умнее, ни образованнее, ни нравственнее. Не начал лучше ориентироваться в физическом пространстве. Он стал, если можно так сказать, натруженно-любопытным. Это несколько наркотическая зависимость от того, что каждый вечер имеешь возможность посмотреть программу и получить новую информацию. Но так действует любое телевидение: есть некое информационно-сенсорное голодание, и оно удовлетворяется.

— *Вашими собеседниками, как правило, становились люди солидного возраста. Были попытки привлечь молодых?*

— Были. Но как только в кадре появлялся человек моложе 30 лет, рейтинг — ноль, потому что нет никакого доверия. Должны быть старцы, умудренные опытом. Грубо говоря, основная установка у зрителя — гость не должен быть моложе меня. И самые смелые идеи, самые экстравагантные выражения в такой передаче не проходят. Не случаен и перекосяк в сторону естественно-научных дисциплин. Из гуманитарной области знания наукой можно на-



звать очень немного и очень относительно. Ну что — философию, психологию? Как только разговор уходит в спекуляции, когда нет научного знания, доступного для проверки, каждый у экрана становится философом и психологом: “А чего я его буду слушать, если сам могу так же?” Но вот был цикл — четыре передачи о гравитации. Все выступали с разных позиций, говорили как бы о разных гравитациях. Однако есть понятие “гравитация”, есть формула, и человек у экрана понимает: гравитаций может быть много, сейчас признается не один закон — несколько, но все участники говорят о физических явлениях, которые реально существуют. И слушают.

— *А не было ли корреляции по образованию, возрасту аудитории, поколенческим различиям? Какие-то исследования в этом плане проводились?*

— Проводились, и результаты самые неожиданные. Если я вам скажу, что на 30 процентов наша аудитория состояла из домохозяек старше 40 лет, со средним образованием, вы будете, наверное, удивлены. Как и я был удивлен. Молодых людей было мало (до 25 лет, если не ошибаюсь, процентов 7). Основной возраст — 45-65 лет. Признаться, у меня нет полного доверия к этим исследованиям, и все-таки они отражают некую реальную тенденцию, что заставляет задуматься...

Вообще говоря, я не придаю особого значения поколенческим различиям. Может быть, потому, что уже в юности общался с людьми, которые годились мне в отцы. Я не чувствую этой проблемы — проблемы поколений. Приходит на передачу 60-летний человек, и он абсолютно мне близок; приходит 25-летний, блестяще образованный — то же самое. Я бы затруднился выделить черты, скажем, “шестидесятников” или “семидесятников”. И про себя не могу сказать, что отношусь к такому-то определенному поколению. Единственное, что сказал про себя, когда была истерия по поводу вхождения в XXI век, что остаюсь в XX. Я в XXI век не хочу.

— *Почему? И что для вас их столь отличает?*

— Отличают отношения, характерные для так называемого постиндустриального и коммерческого потребительского общества. У меня, в отличие от большинства граждан нашей страны, адаптация к тем условиям, в которых мы сейчас живем (практически постиндустриального, рыночного общества), прошла в эмиграции и совершенно по-другому, чем это было здесь. То есть там были условия, которые я сам выбрал. Там были детально разработанные и цивилизованные рыночные законы. И когда я вернулся и увидел, что происходит и что наступает здесь, мне это было уже совершенно понятно. В первую очередь — “всё на продажу”. Все отношения, включая самые интимные, так или иначе курируются финансами. Есть государство и есть функция навязывания маниакального страха перед завтрашним днем, этакого бытового страха. В Америке такое состояние достигло своего совершенства, стало одним из стимулов существования. Далее — колоссальное социальное расслоение в обществе (бесстыдное в наших условиях), отказ от общественной собственности, в том числе на природные ресурсы и собственно природу. Недалек тот день — я с ужасом его жду, — когда в моей деревне, в нашем лесу появится табличка: “Частное владение. Посторонним вход воспрещен”.

А вместе с тем среди новых черт общества, для меня неприемлемых, — отсутствие общественного давления на художника и, как следствие, разрушение самоцензуры. Я не говорю о тех, кто сам себя называет художником и может сегодня спокойно существовать, о таких как Пелевин или Сорокин. Я говорю об отсутствии общественной востребованности, пусть даже на профессиональном уровне, на уровне некоего сообщества единомышленников. Я не имею в виду, скажем, конкретный Союз кинематографистов, но произошло ведь абсолютное разрушение такого рода структур... Потому я и говорю: не хочу всего этого. Лучше попробую создать свой ретромирок.

— *Получается?*

— Когда как. Порой есть ощущение, что бьешься головой о стенку. Вот что ненавижу, так это конкуренцию. На-

вязанная борьба — это всегда ужасно. Почему я должен с кем-то конкурировать? С тем же Дибровым, с которым я параллельно существую? Он делает точно такую же передачу, как и я? Нет. Какая же конкуренция? Если ты знаешь про себя какие-то вещи, какая тебе разница, назовут тебя первым, третьим или шестым. А это общество конкуренции, соревнования. Соревнование — это когда вы сидите на пляже и кидаете в банку камешки; грубое мальчишество, всегда стимулирующее к подъемам, необходимым для движения. В остальных случаях это сотрясение воздуха.

Но при всем при том я не знаю, что такое российское общество, что такое современная Россия. Ее нет. Есть Москва, причем в районе Капотни и в пределах Садового кольца — это тоже два разных государства, с разным населением. Разное население — разная историческая память, разное прошлое, будущее, разные цели. Отъедешь сто километров от Москвы, там совершенно другая жизнь. Мы с приятелем дискутировали на ту же тему. Я ему говорю: “Ну, вот выключи телевизор на неделю. И где та Россия? О какой России ты будешь говорить?”

Если вернуться к той же Америке, то там ярко выраженное классовое общество (как бы это они сами ни отрицали). Грубо говоря, классов три, и в каждом еще есть подклассы. Об этом, кстати, писал очень хороший американский социолог. Он немного социальный сатирик Боб Фассл. Книга так и называется — “Классы”, и вот как он их определяет: *пролетариат*, но есть низший пролетариат, высший пролетариат и т. д.; *средний класс*, который тоже делится на группы, наконец, *high group*. Выделяет еще маргиналов всех мастей. High group он почти не рассматривает, потому что это невидимая часть общества (они сильно перепугались в Великую депрессию, отдали государству и продали свои замки, картины), и если ее отсечь, тогда остаются два основных класса. А вот эти два абсолютно противоположны. Пролетариат — такой оседлый, малотребовательный, легко поддающийся на политические новации класс, хотя и консервативный, очень религиозный; те самые “жирные американцы”, о которых столько говорят. Средний же класс — это перелетные птицы; нет своего дома, квартиру меняют в среднем раз в 5–7

лет, постоянно перемещаясь по странным траекториям вслед за работой, то есть за уровнем жизни.

У нас этого нет, и еще долго не будет, потому что все-таки для того, чтобы перемещаться, нужно иметь возможность получить лучшие социальные условия, чем были. У нас расслоение не социальное, а экономическое. Мой вчерашний сосед по подъезду, которого я сто лет знаю, сейчас живет за тройным забором в замке, а я в той же разрушающейся пятиэтажке. Значит ли это, что мы стали разными людьми? Что уже принадлежим к разным социальным классам? У людей общий background. У них одни интересы, одинаковое образование. Ну, это те же люди, грубо говоря. Я помню замечательный социальный эксперимент, который был проведен в московских новостройках в конце 60-х — 70-х годах. Тогда я жил в подъезде, куда свезли, с одной стороны, выселенных из центра Москвы (с Пречистенки, Воздвиженки), а с другой — из снесенных деревень, на месте которых эти новые дома и строили (из Чертаново, Зюзино, еще откуда-то). Вот это был восхитительный социальный сплав: на первом этаже жили одни люди, на втором — совсем другие, то есть это был просто материализованный разрез социальной структуры. Их дети уже подверглись какой-то нивелировке: одна школа, один двор, один телевизор. Внуки совсем похожи. И теперь вот те дети и те внуки оказались в разных концах города. Это значит, что они разные? Когда вот тот, живущий за тройным забором, пошлет своего ребенка в Англию, ребенок там выучится, приедет сюда, ему здесь все разонравится, он попытается что-то под себя переделать (но не получится), приедет еще раз и, может, даже совсем вернется — вот тогда это будет человек уже другого социального класса. Пока — все те же люди, мне кажется.

— *И вы пытались каким-то образом трансформировать это сложившееся, или, напротив, не сложившееся общество, создав в свое время, насколько мы знаем, “Партию общественного цинизма”. Это была игра?*

— Скорее даже пародия — на все, что происходит вокруг. Мало того, я выставил и свою кандидатуру на прези-

дентских выборах. И была пародийная кампания, абсолютно популистская, возведенная в квадрат. Со своей программой, где предлагались свои реформы и законоположения. Хочешь, скажем, стать государственным чиновником — просто заплати столько-то, потому что украдешь, мы знаем, больше, и получи соответствующую лицензию на должность. А для высших государственных чиновников вводилась смертная казнь после исполнения ими своих обязанностей. Хочешь быть президентом? Никто тебе не мешает, пожалуйста, будь. Если для того, чтобы обеспечить свою семью на все оставшиеся годы, тогда уж пожертвуй собой — в прямом смысле. Или ты хочешь вытащить Россию из болота? Но тоже придется пожертвовать собой ради великой цели... Такая шутовская программа, но со здравым смыслом, как мне казалось.

— *Ну а если серьезно: нужны ли и возможны ли в современном обществе новые социальные идеи, социальные идеалы? Как вы ответили бы на вопрос, который многие задают сегодня себе и особенно людям ученым, — куда должна двигаться Россия?*

— У меня нет ясного представления, потому что, на мой взгляд, мы проходим сейчас через вторую мировую трансформацию: пытались построить коммунизм, теперь пытаемся построить демократию. В мире нет ни одного демократически устроенного общества. Везде либо олигархия, либо социализм — в той или иной степени развитые. Американская олигархия или шведский социализм. Тирания? Наверное, да. Но: “Ах, русское тиранство — дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу”.

Как обозначить то, что сейчас устанавливается в России? Олигархия, вне всякого сомнения. Коррупция — образ жизни большей части населения, снизу доверху (или сверху вниз?). У меня нет никаких моральных претензий к людям. Это правила игры, только они не легализованы. Значит, у каждого есть возможность понимать сии правила по-своему. Что получается, когда нет общепризнанных правил игры? Тот, кто сильнее, может вдруг объявить партнеру: мы вот сели играть в шахматы, но сейчас я уже в шашки играю.

Что приключилось, скажем, на моих глазах с телекомпанией НТВ? Им сказали: “Ребята, надо делать бизнес”. Пришли бизнесмены, установили свои правила — бизнес есть бизнес. Потом им сказали: “Да, есть бизнес, но есть и политика. А политика, понимаете, — это политика”. То есть сели играть в шахматы, а теперь играем в шашки. Поэтому вали-те отсюда... И тут нелепо обижаться: это образ жизни. Как его поменять? Не знаю, возможно ли это.

Почему-то обвиняют большевиков в цинизме и лицемерии. Не могу понять почему. Тогда как раз были правила игры, абсолютно “железные”. Да, мы бароны, мы новые красные бароны, мы белая кость, мы красная кость, а вы все остальные. Хотите стать как мы? “Делай, как я”. Все предельно просто. Кроме того, они умудрились создать, как ни крути, лучшее в мире образование, особенно это касалось начальной и средней школы. И они умудрились сохранить великую русскую литературу, искусство, науку (что за последние десять лет просто сметено). И вот встает вопрос: если нас будут рассматривать, изучать не завтра и не послезавтра, а этак через три-четыре тысячи лет, — кто выиграет при таком рассмотрении? Когда уйдут людские страхи и слезы, смерть, мораль, когда фигура Сталина сравняется с фигурой Петра или Александра Великого, потому что кровь на расстоянии видится иначе, будто ее становится меньше, когда вымрут поколения, которым что-то дали или у них что-то отняли, — как все будет видаться и оцениваться? У меня нет ответа.

— *Россия советская и Россия нынешняя и сейчас противостоят друг другу как созидание и разрушение?*

— Нет. И то, и другое — сумерки. Впрочем, советская Россия — это утро, когда солнце еще не взошло. А нынешняя — вечер, когда солнце только что зашло за горизонт. Вот это состояние между днем и ночью. И там, и там. Думаю, что это сумерки цивилизации. И не просто какой-то особой российской, а западноевропейской цивилизации, культурно управляемой Книгой, которой была Библия. Потому что оказалось, что даже с морально-нравственной точки зрения она больше не является нормообразующей книгой.

Мир сильно изменился и будет меняться. Смотрите: сейчас, на мой взгляд, Соединенные Штаты совершают акт самоубийства; эта страна очень скоро исчезнет с карты мира в том виде, в котором она существует, что вызовет, конечно, колоссальные катаклизмы по всему миру. И мы еще застанем абсолютно изменившуюся картину, потому что оказалось: за 200 лет можно пройти весь путь, от начала до конца, но при этом набрать столько инерции, что страна, как воронка, засасывает, тащит за собой в омут огромное число стран, наций, народов.

— *То есть это уже не “закат Европы”, а закат Америки?*

— Закат цивилизации. Что такое Америка? Это Европа с зубами. С зубами и с мускулами. Не такая старая. Но оказалось, что этого недостаточно для выживания. Все-таки, наверное, мироустройство с таким населением и в таком контексте уже невозможно по той модели, которая называется “западная цивилизация”. Что будет дальше? Рассчитывать на китайцев, их цивилизацию? Но они сейчас имеют те же правила игры. Мало верю и в так называемый молодой арабский мир.

— *Мир разрушается, потому что стал однополюсным?*

— Вот выяснилось, что он не однополюсный. Европа же напрягается и пытается противостоять Америке, тот же Китай пытается противостоять. Просто надо понимать, что противостояние Восток — Запад сменилось на противостояние Север — Юг. Мне, правда, кажется, что и это не совсем точно, потому что осталось и прежнее, и наложилось новое. Притом все очень хотят глобализации и выжить. Грубо говоря, все сводится к тому, что есть люди, которые контролируют весь рынок, во всем мире. Кто эти люди? Никогда не узнаешь.

— *В одной из ваших передач говорилось, что нет сейчас таких ученых, мыслителей-синтезаторов, которые*

*оказались бы способны охватить умом все перемены в мире и понять их в единстве, стать вровень с такими “синтезаторами”, как Леонардо да Винчи или Эйнштейн, попытавшийся все же создать единую теорию поля. А почему нет? Мир не дозрел до того, когда полнее проявились бы все тенденции его развития, когда он стал бы более понятным, либо люди “не дозрели”, а может, и не дозреют никогда?*

— Примеры есть. Дмитрий Сергеевич Чернавский, победитель нашего конкурса, синергетик и мудрец.

— *Александр Гарриевич, а как вы сами определяете себя по роду деятельности? Вы в первую очередь кто?*

— Я всегда с этим затруднялся. Хотелось бы определять себя как кинорежиссера, но для этого одного фильма явно не достаточно. В Америке есть хорошее определение, по-нашему, это можно обозначить как “профессионал”. Одна дама еще на заре моей телевизионной карьеры написала: “Он умудрился из характера сделать профессию”. Возможно, это обидно, но очень точно.

## К.В. Ремчуков ... Ввести в повестку дня страны

— *В наше время жить непросто всем. И все об этом говорят. А вот вам, Константин Вадимович, жить в такое непростое время интересно?*

— Да, и просто и интересно. Я приехал в Москву учиться из Волгоградской области (из города Волжского), когда мне не было и семнадцати, мне все было интересно. Сосед по комнате в общежитии, он был физик, принес от кого-то стихи на ночь. Автора я не знал, но они оказали как бы методологическое воздействие на мое восприятие времени. Стихи звучали так:

Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бдения,  
И мечты, что проснешься в каком-нибудь веке ином.  
Время? Время дано — это не подлежит обсуждению,  
Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.  
Ты не жди, что грядущее вскрикнет, всплеснувши руками:  
"Ах, какой тогда жил, да бедняга от века зачах".  
Нету легких времен. И в людскую врезается память  
Только тот, кто пронес эту тяжесть на скорбных плечах.

И до такой степени я воспринял это как правду... Потом уже, работая в Америке, я набрел на эти стихи. Оказалось, автор — Наум Коржавин. Значит, я прочитал их в 1971 году, а в Америке был в 1986-87 годах, в Пенсильванском университете — пятнадцать лет у меня сохранялось это представление об отношении ко времени; не зная автора, я разделял его точку зрения. Поэтому, когда я думаю о 20–30–40-х годах, я отнюдь не считаю, что тогда жилось легче. Сейчас трудное время? Не более трудное, чем когда бы то ни было. Как представишь, что пережили мои роди-

тели или родители моих родителей — это же ужас! Мы сейчас живем в раю, я считаю, по многим параметрам. У нас изменились риски, структура рисков, но на самом деле я не думаю, что к нам предъявляются большие требования, чтобы мы выжили. Время непростое, но как всегда — значит эпитет "непростое" выносим за скобки: время есть время, в котором мы разместились. А интересно ли жить? Лично мне очень интересно.

— *Мы обратились к вам, Константин Вадимович, как человеку, в известной степени объединяющему авторов книги. Вы профессор-экономист, ведете курс макроэкономического регулирования и планирования; вы политик — были депутатом Госдумы; вы бизнесмен, причем не чуждый духовных потребностей: насколько известно, вы возглавляете исполком попечительского совета Большого театра. Вам в этом году исполняется пятьдесят, младшему из наших авторов нет и двадцати пяти — именно на этом временном отрезке родились и другие наши собеседники... Словом, есть все основания узнать ваше мнение о вопросах, над которыми размышляют сегодня в обществе. И первый такой вопрос: сейчас особо подчеркивается, что реализация всех намеченных планов возможна только в "свободном обществе свободных людей"; формула уже прижилась, однако для нас, в современных условиях — это не абстрактные понятия?*

— Раз уж мы отталкиваемся от формулы, которая принесена высшим должностным лицом страны, то мы обязаны подумать о ее реальном содержании. Так вот, я абсолютно убежден, что оно либо совсем отсутствует именно в устах главы государства, либо подразумевает что-то такое, что отличает его от сущностного понимания свободного общества свободных людей. Если говорится: "и дальше развивать демократию, свободу слова" — это же абсолютно в стиле ЦК КПСС, когда на всех пленумах ставилась задача "дальнейшего совершенствования, углубления, повышения". "Дальнейшего" — то есть все будто и так развивается, повышается, но надо еще чуть поднажать. Год назад в

одном из интервью я использовал термин "принципат Путина". Прочитал несколько книг по принципату римского императора Августа (Октавиана), и меня поразило сходство. Молодой, благополучный военачальник Октавиан приходит в страну, которая устала от гражданских войн, проблем, и вскоре становится императором — как бы первым среди равных. Он говорит: надо прекратить разврат. Но разврат в империи процветает. Он говорит о свободе, а никакой свободы нет. Говорит о демократии — на самом деле это диктатура...

Мы сейчас охотно манипулируем базовыми категориями демократии, но их содержание у нас существенно расходится с тем, как понимает его большинство населения цивилизованного мира. Если учесть, какой достигнут сегодня в этом мире стандарт свободы... Именно поэтому мне кажется, фраза "свободное общество свободных людей" бессодержательна, несозвучна тому, что происходит в нашей стране в последние годы. Она формально воспроизводит звуки, соответствующие терминам, но за ней не стоит политика, которая отвечала бы принципам свободного общества, нет системы ценностей, характерной для свободных людей и свободного общества, нет приоритетов, примеров борьбы за свободное общество и за свободных людей. Наоборот — огромное количество примеров, включая судебную практику, говорит скорее об обратном. Поэтому, когда я называю "принципатом Путина" тот тип политического режима, который складывается сейчас в России, я как раз и имею в виду, что сами по себе правильные слова лишены содержательного смысла — надо внимательно смотреть на реальные процессы, которые происходят в стране, и на тенденции этих процессов.

— *Наше общество — не для такого рода перемен?*

— Нет, мне кажется, это зигзаги происходят. Ведь есть же какой-то вектор развития. Элементы свободы, на мой взгляд, были в конце 80-х годов, но устойчивых периодов такого развития у нас не было. Хотя, не было и таких темпов глобализации, распространения глобальных феноменов.

— *Вы считаете, это должно повлиять на процессы у нас, в том числе и в экономическом пространстве?*

— Безусловно, поскольку в стране действуют ограничения развития производительных сил (используем марксистскую трактовку). А когда что-то выступает в качестве ограничения развития производительных сил — в данном случае можно заменить этот термин "развитием капитала", "потребностями капитала", — то оковы будут сброшены, безусловно. Мировая тенденция такова, что успешно развивающаяся корпорация является двигателем современного социально-экономического прогресса. В свое время современник Ленина Дж. Шумпетер, говоря о диффузии нововведений, объяснял, что именно она, диффузия нововведений — источник прогресса. Ленин тогда писал свою работу "Империализм как высшая стадия капитализма", для него была существенна классовая борьба в контексте так называемой диалектики производительных сил и производственных отношений и, зная Шумпетера, он его проигнорировал. Таким образом, и наша общественная наука фактически проигнорировала Шумпетера на многие десятилетия. И вдруг в 1990 году выходит огромный, содержательный доклад "ТНК в современном мире". Читаю в одной из глав: "Социально-экономическое развитие в мире обусловлено диффузией двух типов нововведений". Первый — нововведения технологического свойства на базе информационных технологий и второй тип — нововведения организационно-управленческого свойства на базе новых подходов к менеджменту, ярким примером которых явилась Япония. Методология исследования источников экономического и социального прогресса — шумпетеровская. И в этом смысле ТНК рассматривается как источник изменений (поскольку они являются и фабрикой, и реципиентом нововведений).

Получается, что успешная корпорация развивается только на пути к децентрализации. Не централизации, не выстраивания вертикали власти, а децентрализации ответственности, полномочий, децентрализации всех производственных процессов. Если мы посмотрим, например, на глобальную торговлю в машиностроительном секторе, то

увидим, что 75 процентов в нем — внутриотраслевая торговля, хотя и трансграничная. Это различные подразделения. Отсюда и такое мощное давление — чтобы снижались тарифы, тарифные барьеры. Торгуют не просто различные собственники, а идет торговля внутри структур, потому и нужно, чтобы не было никаких границ. Поэтому на самом деле это интеграция специализирующихся производств, но их специализация лежит в основе эффективного производства. Она является единственным измерителем конкурентоспособности, она по-прежнему цель развития национальных экономик, корпораций и так далее. Децентрализация нужна еще и для того, чтобы меньше было ошибок: вы спускаетесь на уровень низовой, где лучше знаете клиентов и их потребности. А опережающее выявление этих потребностей и поиск способов их удовлетворить — основа конкурентоспособной экономики, в которой "предложение рождает спрос".

"Спрос рождает предложение" — это алгоритм дефицитной экономики, которая не думает о потребностях клиентов, по крайней мере, об их упреждении. Она знает, что нужны хлеб, носки, порошок, и как-то пытается их обеспечить. Но экономика современная... Если я видел только старый черный телефонный аппарат, то и в магазине говорю: "Я хотел бы телефон с такими-то кнопочками". Но если я увидел телефон с видеокамерой, то пойду и куплю такой. Предложение сформировало мой спрос, но это произошло лишь потому, что велись опережающие исследования, выявляющие мою потребность в телефонной связи. Более того, в рамках такого подхода существует много иерархий, которые позволяют взглянуть на клиента, то есть потребителя (фактически это ключевой субъект современной жизни) совершенно с других ракурсов. Если говорить о тех же мобильных телефонах, то в начале 90-х они воспринимались как атрибут крупных бизнесменов, которые должны быть в курсе происходящих процессов в постоянном режиме. Телефоны были громоздкие, дорогие, но все создавали: это статусная вещь. И потом произошло изменение — кстати, при интересных обстоятельствах. Руководители фирмы "Nokia" поняли, что проигрывают конкурентную борьбу "Ericsson" на рынке мобильных телефонов. И перед тем,

как "закрыть лавочку", собрали своих ведущих менеджеров и сказали: "Все равно мы уходим с рынка, поезжайте в Калифорнию, отдохните, поплавайте, развейтесь. Это как бы и наш бонус вам"... Поехали люди туда и вернулись с идеей: мобильный телефон, оказывается, может быть предметом моды для целевых групп, которые никогда прежде не рассматривались компанией — для молодых ребят, подростков; здесь нет содержательного смысла передачи информации — есть смысл попижонить где-то на пляже, показать, что имеешь такую вещь. И компания совершенно иначе подошла к производству телефонов — стала выпускать аппараты типа мыльниц, цветные футляры и так далее. Сейчас она бесспорный мировой лидер в этом сегменте, свыше 30 процентов мирового рынка принадлежат ей (с большим отрывом от "Siemens", скажем, а "Ericsson" вообще проиграл борьбу). Из чего следует, что можно упредить даже такую потребность, которая по сути иррациональна...

На днях был опубликован доклад, где говорится, что в России подростки тратят больше миллиарда долларов на изменяющиеся модели мобильных телефонов. Миллиард долларов — рынок подростков, которым не связь важна даже, не функции какие-то, а просто чтобы была новая модель. Вот это и есть другой мир. И чтобы в него вписываться — по бизнесу, по доходу — требуются не централизованные решения людей, которые могут и не видеть этих подростков (все большие начальники так много работают, что и своих-то детей видят, когда те спят), а децентрализация функций. И она происходит. Мы знаем свою клиентскую базу, знаем, что этим людям нужно, и так далее. А вот идущие в стране процессы, связанные с вертикалью власти, с централизацией многих функций, противоречат объективным потребностям развития капитала, производительных сил. Потому с неизбежностью эта система будет...

— *Самоликвидироваться?*

— Нет, не все сразу.

— *То есть формула, о которой мы говорим, сгодится только потом когда-нибудь?*

— Нет, она годится как потребность. Это же не то, что кто-то подумал: "А произнесу-ка я красивую формулу". Ведь с неизбежностью наступит наказание за то, что ты не следуешь сути этой формулы. Только кажется, что можно ее обойти, потому что свободное общество свободных людей — это общество, которое в состоянии адекватно вписаться в тенденции глобализации. Если ты думаешь, что удастся кого-то обмануть, используя только лейбл, ярлык, а содержательно ничего не делая, наказание настигнет тебя, и чем раньше цена на нефть пойдет вниз, тем быстрее выяснится, что страна не готова ни привлекать капитал, ни новые технологии и так далее.

— Ну, не получится с этой формулой, придут новые люди и выдвинут другую формулу или просто лозунг, скажем, "Долой вертикаль!".

— Это не выход. Дело в том, что есть запасные системы существования при фальшивых или лицемерных формулах. Как, например, советская система. Уже давно, скажем, в последние десять лет брежневского правления, чувствовалась неадекватность системы. Потом наступил слом, когда ресурс стал уже не способен удержать даже эту систему, то есть выдержать военный стратегический паритет с американцами, опираясь на существенно меньший экономический потенциал.

— То есть, строго говоря, риторика властей не соответствует ни запросам страны, ни ситуации в мире. И как долго тогда продержится власть?

— Она продержится ровно столько, сколько у нее будет ресурса, прежде всего экономического, чтобы поддерживать себя и решать какие-то вопросы, которые эта власть ставит, например, на международной арене. Вот сейчас у Путина такой финансовый ресурс, который позволяет ему быть независимым на международном уровне. Он не кланчит денег, не просит кредитов МВФ, как раньше было: "Приезжает Комдесю, что скажет Комдесю?". — "Налогов собираете одиннадцать процентов от ВВП, а надо тринад-

цать". — "Ой, тринадцать процентов надо, ой-ой-ой!". Сейчас мы собираем восемнадцать процентов, и никто об этом не говорит. То есть его репутация, в том числе и достоинство, обусловлена феноменальными экономическими показателями, которые вызваны были нефтяными деньгами и тем, что произошло замещение импорта внутренним производством после дефолта 1998 года, когда российский производитель начал занимать те ниши на рынке потребительских товаров, откуда ушел импорт — от пива до тефлоновых сковородок. Золотовалютные запасы к концу 2004 года достигнут 100 миллиардов долларов (в 98-м их было 11 миллиардов). Долгов будет выплачено с 98-го года 60 миллиардов долларов, при этом не взяли, повторю, ни одного цента. Все основные показатели говорят, что прибыли частных корпораций увеличились. Федеральный бюджет был 18 миллиардов долларов, сейчас — 90 миллиардов, вырос в пять раз. Откуда все эти деньги? Они являются продуктом роста, и потому кажется, что это результат централизации функций, наведения так называемого порядка, хотя на самом деле все не так.

Макроэкономическая ситуация начнет ухудшаться, она с неизбежностью будет ухудшаться, если не произойдет развития; развитие же может происходить (поскольку исчерпаны источники модели роста, связанной с нефтью и замещением импорта) только на основе замены фиксированных активов, или основных производственных фондов, по-русски. Вот эти фиксированные активы требуют больших инвестиций, поскольку изменение технологической базы является источником конкурентного преимущества страны. Как только деньги сверху улетучатся и не будут за ближайшие годы (думаю, еще года три есть) предприняты реальные меры по обновлению производственного аппарата российской экономики, наступит кризис. Кризис никогда не является смертным приговором; это повод переосмыслить оболочку, в которой основные производительные силы развиваются. Значит скажут: надо больше свободы. В чем эта свобода должна для бизнеса выражаться, чтобы капитал сюда шел? Должна быть предсказуемость экономической политики. Есть! Мы сделаем политику предсказуемой. Должна быть предсказуемой судебная



система и вообще вся правовая среда. Этому будет содействовать вступление России в ВТО — очень многие законы будут изменяться в соответствии со стандартами ВТО, то есть предсказуемость станет повышаться. Что еще нужно? Чтобы гражданские суды были менее коррумпированными и принимали самостоятельные решения; чтобы арбитражи тоже стали более независимыми и несли ответственность за принимаемые решения; должна быть система контроля и так далее. Эти действия выйдут на передний план, когда вдруг поймут: национальный капитал не хочет вкладывать деньги в условиях непредсказуемости и ужесточения административного контроля со стороны региональных или федеральных властей. Зарубежный капитал никогда не идет туда, где национальный капитал плохо себя чувствует. То есть системы страновых рисков, которые установлены в ведущих корпорациях мира, будь то банки, страховые общества, инвестиционные, пенсионные фонды — включают в себя так называемые *hard factors* (это макроэкономические объективные показатели: состояние бюджетного дефицита, бюджета как такового, платежного и торгового баланса, валютного курса, инфляции и т.п.) и *soft factors*. А *soft factors* как раз относятся уже к политическому окружению. Конечно, когда мы говорим "политическому", мы тем самым резко сужаем рамки. Но политическая власть, безусловно, в нашей стране играет большую роль.

— *Это одна часть формулы — "свободное общество". А "свободные люди"?*

— "Свободные люди" — еще более сложная категория, потому что свобода все-таки, по большому счету, внутри человека. Не говоря уже о такой субъективной вещи, как ощущение свободы: ведь кто-то может чувствовать себя свободным только потому, что его точка зрения никогда не отличается от точки зрения власти. Поговорите с любым представителем "Единой России". Он будет отстаивать именно ту позицию, которую сегодня сформулирует власть. Власть поменяла позицию — и он с точно таким же энтузиазмом станет поддерживать другую точку зрения. Прихо-

дилось неоднократно наблюдать это в Думе: власть вносит какой-то законопроект, мы, допустим, его критикуем, доказываем, что он "не такой", а нам говорят: "Нет, такой"; потом из Кремля поступает другая редакция, и те же люди начинают агитировать уже за иную его интерпретацию. И они свободны в этом, то есть они ошибаются "вместе с генеральной линией партии". Самые свободные люди — им может так казаться. И опять: насколько это соответствует стандарту? Почему до такой степени выражено это колебание вместе с генеральной линией? Почему вообще существует такая генеральная линия? Это все вопросы, которые означают наличие атавистических остатков, наростов от предыдущей системы. А вообще у меня ощущение и, скорее, это даже мое убеждение, что пропорция свободных людей в обществе не меняется тысячелетиями.

— *И какова же она?*

— Думаю, процентов пять. И две тысячи лет назад, и в системе рабства, и в системе феодализма, дикого капитализма, позднего цивилизованного капитализма...

— *Вы считаете, это мировая тенденция?*

— Я очень много езжу по миру. У меня немало друзей в других странах. И я вижу, как они живут — в Америке, Англии, Швейцарии. Вижу, какая это жесткая система, намного менее гуманная, чем наша; но она негуманна как бы гордо, потому что ее негуманность встроена в некое представление о справедливости. Эта система делает человека очень осторожным, внутренний цензор в нем сидит очень глубоко; он понимает уже не на уровне слов, а на уровне опыта папы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки, что, выпав из обоймы, очень сложно туда вернуться. Потеряв работу, ты реально оказываешься один на один со своими проблемами, а дом у тебя заложен или на так называемом ипотечном питании, выматывающем душу (сумма коммерческого кредита в США такая же, как ВВП, вся страна живет в долг). Жить взаимы невозможно — надо платить и проценты, и основную часть долга, и это делает

тебя дисциплинированным, а не призывы "не пей", "хорошо работай". Негативные стимулы к труду реально доминируют, и только очень узкий круг людей (типа тех, кто работает в Силиконовой долине) воспринимает труд как внутреннюю потребность, что ближе к марксовской интерпретации коммунистического труда. А у подавляющего большинства эта потребность, безусловно, неправильно сформирована, даже в базовом представлении о том, что такое "актив" и "пассив". Это поразительно, потому что ведь смысл американской мечты — иметь, скажем, свой дом, и большинство людей исходит из того, что дом — и есть главный актив в жизни, то есть то, что должно приносить деньги; пассив — то, что деньги забирает. Однако поддержание и эксплуатация дома как раз постоянно требуют денег. Вот купите дом из последних сил, и вы увидите: канализацию надо чинить, водопровод, крышу — это огромные средства. Таким образом, люди загоняют себя кредитами, в том числе многолетними ипотечными, на приобретение пассива, что еще больше берет за горло. И так живут 90 процентов.

— *А если речь идет о свободе духа?*

— Нет, это опять иллюзия. Ведь когда Буш говорит о том, что несет в Ирак демократию и свободу, он же абсолютно верит в это. Точно так же, как и большинство провинциальных американцев — в Миссисипи, Арканзасе, Теннесси. Что за явление люди, которые говорят: "Мы несем свободу и демократию — иракцы должны быть свободными"? А кто такие иракцы? Что такое для них Коран, что является ценностью, и вообще — какое у них представление о свободе? Это американцев не интересует, им кажется, что есть некое универсальное представление а-ля США, которое они несут, и в этом их мессианство. Да, дома, в быту они скажут, что свободны, не осознавая, в чем это проявляется; большинство из них даже не идет к Белому дому жечь флаг (как раньше нам говорили: признак Америки — можно пойти к Белому дому и сжечь американский флаг. На что наши, кстати, отвечали: ну, и у нас тоже можно сжечь американский флаг на Красной площади,

и никто ничего не скажет). Я все же склонен считать, что свобода — это внутреннее состояние человека и связана она, прежде всего, со способностью жить в ладу с собственным представлением о должном. Свобода как красивая категория применима к очень небольшому числу людей — всегда, везде и равномерно.

— *Это не те же люди-делатели, созидатели, генераторы идей (трудно определить их одним словом), которых тоже, как считают и некоторые наши авторы, в пропорциональном соотношении крайне немного, три-пять процентов?*

— Не совсем так. Не все свободные люди — делатели, созидатели, как это понимается, прежде всего материальных благ. Многие из них, даже, может, большая часть, производители скорее благ духовных. Это художники, музыканты, писатели, философы. Они могут занимать очень пассивную, как раньше говорили, жизненную позицию; у них нет потребности, скажем, развить производство и выйти на международный рынок, заняв там определенную нишу. Мне кажется, это несколько разные делатели. Предпринимательство — самостоятельный талант, самостоятельная потребность и естественная, а иногда и единственная, форма существования. Отними у людей с предпринимательским духом эту их ипостась — им ничего не нужно будет. В этом смысле они так "заточены". Я много наблюдал крупных предпринимателей, это просто дар, этому нельзя научить. Есть очень умные люди, но у них нет такого дара. Вы не читали мое интервью в журнале "Карьера"? Я там рассматриваю эмоциональный интеллект, академический интеллект и практический интеллект. Вот эти люди обладают невероятно высоким практическим интеллектом, который позволил им в условиях социально-политического хаоса первыми нащупать систему координат, ведущую к успеху (в их системе приоритетов и ценностей).

А если вернуться к формуле "свободное общество свободных людей", то, конечно, само количество еще не является необходимым, достаточным и исчерпывающим крите-

рием ее реализации. У нас это определяют другие вещи. У наших людей совершенно другие потребности, и чем лучше они станут жить, тем далее будут уходить в сторону именно этих потребностей, где свобода в таком вечном, философском смысле занимает совсем мало места. Вообще эволюция современной цивилизации непонятна. Что является конечной целью? Одни ценят возможность каждый день ходить в ночной клуб, возвращаясь из него в пять утра. А кто-то говорит: "Для меня это совершенно невыносимый, неприемлемый образ жизни. Даже если бы мне приплачивали за то, чтобы я туда ежедневно ходил, я не пойду. Дайте мне Канта или Гегеля, я буду читать их и для меня это ценнее". В данном случае я не могу осуждать кого-то. Я и в Америке вижу людей, для которых простые формы проведения досуга являются безусловной ценностью, смыслом существования. Человек упорно-упорно работает, а потом он должен что-то иметь для души. Много лет назад я столкнулся с ситуацией, когда одна наша компания должна была перевозить нефть с западного на восточное побережье Англии (или с восточного на западное, точно не помню). Но при этом люди должны были трудиться ночью, им платили двойную зарплату, и через месяц примерно 80 процентов водителей отказались работать, потому что, по сути, были выдернуты из контекста их жизни. То есть пропустили матч по регби, не были в пабе, не обсудили, как кто-то играл, пропустили матч "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" — и в результате им оказались не нужны эти двойные деньги. Тот самый контекст важнее. Казалось бы, это абсолютное институциональное ограничение развития бизнеса. Но я не могу осуждать непрактичность этого британца, шотландца или уэльсца, поскольку полагаю, что он понял уже смысл жизни, который для него не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы заработанные деньги тратить, как принято в его социальном микромире.

— *Играет ли, по вашему мнению, какую-то роль применительно к свободе то, что мы называем "призванностью"?*

— Призванности не бывает, это тоже миф. Кем должны быть призваны свободные люди — Богом, властью?

Власти они не нужны: свободный человек не управляем, а власть стремится к управлению, потому что иначе, чем через процессы управления проявить себя невозможно. Слово "призванность" напоминает, кстати, о том, как Горбачев во время перестройки призывал творческую интеллигенцию, и все потонуло в словах; в результате дискредитирован Горбачев, дискредитированы "прорабы перестройки" — хорошие, в сущности, люди, шестидесятники, дети двадцатого съезда. Общество сказало: "Нам они не нужны". Что делает Путин? Он не обращает на них никакого внимания, выстраивает вертикаль власти и управляет системой по крайней мере лучше, чем Горбачев. Повезло ли ему — это потом другой анализ покажет. Пока мы способны видеть, что такая система управления не требует призывать кого-то, совершенно другие цели стоят...

— *Обратимся к другой известной формуле, которая звучит в наши дни едва ли не чаще: "нам необходимо гражданское общество". Что такое "гражданское общество"? Мы сделали что-либо для того, чтобы оно действительно возникло?*

— Думаю, самая важная структура для становления гражданского общества — это независимый суд. Будет независимый суд — и он станет инкубационной средой для развития других институтов: политических партий, общественных движений и так далее. Тем самым начнет происходить по горизонтали развитие субъектов народовластия. Сейчас у нас, при разделении властей по вертикали, одна матрешка входит в другую — президент, потом пошли правительство, Дума, Совет Федерации и все там сидят. Настоящее же разделение властей — по горизонтали. Как только оно становится реальностью, так появляется гражданское общество. А важнейшей политикой, ведущей к этому, может быть — даже в таком, плохо структурированном в политическом плане пространстве — воздействие на процесс формирования ценностей общества. Независимость суда должна стать на данный момент основной ценностью.

— Но получается замкнутый круг: для того, чтобы было гражданское общество, нужен независимый суд, который рождает бы гражданское общество?

— Который будет, то есть суд, важнейшим элементом его формирования. Но я ведь не могу представить здесь некую программу действий. Мы с вами просто беседуем на эту тему, а вы вроде как хотите сделать меня ответственным за нее. Если бы у меня была идея посвятить себя этому, я бы, скажем, стал лидером СПС (что, кстати, мне предлагали); мы ввели бы в повестку дня страны эти содержательные вопросы — именно в повестку дня страны. Ведь сегодня она формируется кем? — президентом, а общество на нее не влияет. И тогда мы бы думали о том, что нужно сделать для судов, какие акции предпринять, какие законы принять, как поднять народ, как внушить другим политикам, что сейчас мы должны сфокусироваться на этих вещах.

Я знаю одно: проблемы должны решаться "по-взрослому", то есть нужен бизнес-подход. Если я, допустим, менеджер политического проекта, то должен все организовать как в корпорации: написать бизнес-план (как мы сделаем, чтобы суды стали основным институтом); провозгласить миссию (создать основной институт гражданского общества — независимый суд); разработать стратегию под эту миссию; наметить этапы, обязательно прописать риски, сказать о конкурентной среде и так далее. Лишь после этого начнется работа, предварительно детально продуманная, в ежедневном режиме. И тогда деятельность политика приобретет конкретный смысл. Но это тяжелый труд; сейчас политика для меня не очень интересная реальность. И я не политик. Я свободный человек и живу в 50 лет так, как хочу. Вот решил, что у меня есть шанс повлиять на то, чтобы изменить территориальные пропорции, поэтому буду помогать проводить новую региональную политику (я читал в университете авторские курсы по региональной политике). Поскольку появляется, мне кажется, возможность содействовать тому, чтобы существующие диспропорции стали объектом размышления сначала в министерстве экономики (где я уже тружусь над этим), а потом и выше. Задачи удвоения ВВП, борьбы с бедностью должны иметь региональ-

ный разрез — иначе говорить о них бессмысленно. Речь идет, собственно, о регионализации основных целей развития. Вот в этой области я и пытаюсь сейчас что-то делать.

— Как свободный человек?

— Да, как свободный человек. Просто потому, что понял: могу тут оказать и интеллектуальную и организационную помощь, привнести какие-то элементы бизнес-планирования в процессы инвестиционного, регионального планирования и так далее. Но я не политик, а это опять-таки забота политиков. Если, конечно, осознавать, что влияние на политическую повестку дня страны — не чья-то, а их задача. Иначе они обречены на бесславное существование.

— Скажите, Константин Вадимович, а почему вы в свое время пошли в Думу?

— По следующим соображениям. Я по бизнесу столкнулся с целым рядом предпринимателей и политиков. И мои наблюдения показали (это были 97-99-й годы), что в стране существуют, условно говоря, два типа "правых". Пока правые "сверху", которые шли с либеральными реформами, что-то там монтировали и демонтировали, образовался слой стихийных правых "снизу" (предприниматели, губернаторы), которые, может, и не читали трактатов по либерализму, но по образу актуализации своих способностей оказались более склонны к конкурентному рынку. Своего рода — либералы-практики. Они верят в себя, у них очень высокий уровень компетентности. И мы решили объединить, подтянуть эти силы. Я был одним из "теневых архитекторов" проекта. И он оказался достаточно успешным. Я избирался в Думу в том числе и в интересах этих самых либералов-практиков. Кстати, я единственный представлял их в федеральной части СПС.

— Не было потом разочарований, сожалений?

— Нет. В ранней молодости я понял и то, что все сожаления — "в пользу бедных". Несколько позднее, уже в ас-

пирантские годы, я вычитал у Хайдеггера мысль — очень глубокую, мне показалось, — которая системно оказала влияние на мой подход к жизни: "существование предшествует сущности". В каждый миг нашего существования нам неизвестна полная сущность; она познается в процессе существования... Действительно, начинаешь по-другому подходить к жизни. Ведь большинство людей, особенно в молодости, живут, выстраивая систему ожиданий как бы транзитом по сегодняшнему дню: вот поступлю в университет и тогда... а когда окончу его... женюсь — разведусь — куплю квартиру ... И вдруг человек оглядывается и выясняется, что светлая, счастливая жизнь, о которой он мечтал или думал, осталась там, позади. И я сделал равновеликим каждый день существования. Вот без нашего с вами интервью моя сущность тоже не была бы полной. Для меня полноценно существование каждый день, каждый месяц, поскольку все это добровольно. Потому и пребывание в Думе, и приобретенный опыт не стали для меня "транзитом". Все-таки тогда в ней не было такого уровня подчиненности Кремлю. Больше было свободы выражения, депутаты чувствовали себя раскрепощеннее. Сейчас они представляются мне подразделением администрации президента.

Как мы говорили, нужно разделение властей; опыт подсказывает, что самая сбалансированная система для развития свободы и прочих прогрессивных вещей обеспечивается с такого разделения помощью. Мы не можем игнорировать те закономерности, которые выработаны на пространствах земного шара — политических, географических, социально-экономических. Особенно на тех пространствах, которые являются относительно успешным проектом человеческой жизни — не совершенным, но все же успешным. Думаем, что опять найдем какой-то свой путь развития? По-моему, никто уже так не думает, поскольку стало очевидным, что никто серьезно его и не ищет.

*— Мы рассматриваем либеральный путь развития как и наш путь, но либерализм предполагает приоритет личности, чего у нас, прямо скажем, никогда не было.*

— Я либерал, если угодно, на бытовом уровне. Но я и отец троих детей и не мог не думать об их воспитании: как, любя детей и имея материальную возможность их баловать, все же их не избаловать? Я пришел к выводу, что не избаловать и вырастить их достойными людьми смогу, если буду уважать их личность, вплоть до права этой личности на ошибку. В общем, так и получилось — выросли скромные, дисциплинированные, хорошо учащиеся, много читающие ребята (хотя, конечно, я их балую). Вот в этом смысле — либерализм как уважение к личности я практикую в своей семье в течение 28 лет.

Что же касается либерализма как основы политической системы, то он мне тоже импонирует, но вы правильно подметили — у нас в России нет этой традиции. В Англии, допустим, на вопрос: "Что важнее, свобода или демократия?" — настоящий либерал ответит, что, конечно, свобода. Потому что свободная личность появилась задолго до того, как возник демократический институт. Думаю, что и в России немало людей, однотипно понимающих как ранг этих категорий, так и важность воспитания именно в духе этих ценностей. Мы говорили с вами о диффузии нововведений. Идеи тоже диффундируют. В свое время, когда кто-то сказал, что надо извлечь статью 6-ю из Конституции, это казалось, во-первых, безумно смелым, во-вторых, нереальным. А сейчас никто даже не вспоминает об этом. Или частная собственность: помните, нам предлагали в качестве экономического рецепта то строй цивилизованных кооператоров, то аренду двух типов, а как оказалось — нужна частная собственность. Вот эволюция. Есть ценности, которые на самом деле могут распространяться в общественном сознании с помощью носителей. Но мы, конечно, имеем дело с множеством противоречий, стереотипов, клише. Многие и сейчас склонны думать, особенно старшее поколение, что они нормально жили, были свободны, никто их не унижал. Я не очень верю советской социологии (которой и не было), поэтому опираюсь на чтение документов, на воспоминания того времени и по крупинкам пытаюсь реконструировать общественное сознание. И вот то, о чем я говорил: когда ты встраиваешься в генеральную линию и обрета-

ещь чувство свободы, то, наверное, многие люди сегодня как раз и ищут эту генеральную линию, пытаются ее угадать; может быть, феномен популярности Путина в том, что он как бы намекает на реальность существования такой линии, и люди начинают это поддерживать, хотя им не обещают ровным счетом ничего. Что это такое? Наша архетипическая особенность?

— *В последнее время много говорят, ссылаясь на Ключевского, о нашем холопстве и связанной с ним нашей приверженности "сильной руке". Но ведь столько революций, всяческих поворотов произошло с тех времен...*

— А что такое "сильная рука" в другом приложении? Это заботливая, защищающая рука. Наверное, все-таки, поскольку мы люди не протестантской веры, то есть не индивидуализировали пока свои отношения с Богом, мы и по жизни не можем индивидуализировать свои отношения с социальным миром. И в этом, мне кажется, самое большое отличие нашей версии христианства. Для нас высшей христианской ценностью было повторить путь Иисуса Христа, оказаться на Голгофе. И это как высшая ценность, насколько я понимаю, внедрялось в том числе и властью исполнительной (нужны были солдаты, чтобы защищать Российскую империю). Отсюда и понятие "Святая Русь". И отсюда же игнорирование, как выражаются философы, "наличного бытия" ("да какая разница, соломенная у меня крыша или шиферная, если я готов или мне придется умереть за родину, за отечество, за братьев православных"). И вот это, мне кажется, более серьезная архетипическая особенность, объясняющая, почему людям нужна "сильная рука". Потому, что "сильная рука", если ты лоялен, дает в ответ регламентированное то-то и то-то, но дает. Конечно, сюда не вписываются люди, которые, оценив свои риски, решают, что индивидуально они больше приобретут, чем та рука даст. Именно этот небольшой класс людей с предпринимательским духом, индивидуализирующий свою ответственность и перед Богом, и перед семьей, и перед партнерами, является двигателем нынешних изменений в России.

— *В том числе молодые поколения?*

— Мне кажется, есть основания полагать, что именно с точки зрения предпринимательской, с точки зрения индивидуализации своей ответственности молодое поколение все-таки больше напоминает протестантское христианство. И в этом, возможно, заложен еще один конфликт: люди формально ходят в православную церковь, ставят там свечку и думают, что молятся православным святым, а на самом деле они уже индивидуализировали свой быт, они менее соборные, менее коллективистские. Я вижу молодых ребят: они действительно иные. Мне кажется, эта прослойка будет нарастать. Если мы говорим, что число в высшем смысле свободных людей не меняется в историческом плане, то предпринимательски ответственных за себя, может, в чем-то менее интересных как собеседников, но более прагматичных, — становится больше. Я думаю, что эти вот люди, в возрасте 30–35 лет, с доходом от 600 до 1000–1500 долларов на человека в семье, через двадцать-тридцать лет (а уж тем более их дети), могут стать реальными сторонниками политиков, выступающих за гражданское общество.

— *Вы следите за современной российской общественной мыслью? Она не представляется вам как нечто цельное, развивающееся, полезное?*

— Нет, я не ощущаю общественной мысли. В 80-е выписывал "толстые журналы", "Вопросы философии" и мне кажется, был в теме. А сейчас... Я много читаю, много изданий выписываю, много времени провожу в Интернете. Как правило, я очень рано встаю и очень поздно ложусь, чтобы все это успеть. То есть я в курсе, но такое ощущение, что не докатывается до меня импульс "нетленки", то есть качественные фрагменты общественной мысли. А если такой увлеченный чтением человек не охвачен... Я предполагаю, что она развивается в каких-то формах, но, видимо, слабо ориентированных на достижение целевых аудиторий.

Раньше многие мысли, идеи черпались из литературы. Мне очень нравился Трифонов. Я его знал всего — от спортивных рассказов до последних романов. Прозу Окуд-

жавы — она совершенно другая — я воспринимал как волшебную и умную. Великолепен был, на мой взгляд, ранний Битов. Я очень любил поэзию, много знал наизусть, и даже помню какие-то вещи совершенно неожиданные: понятие о стиле, например (которое потом мной применялось к другим вещам), я приобретал не по Пушкину и Гоголю, а по Арсению Тарковскому, его поэме "Чудо со щеплом"... Есть ли сейчас книги такого масштаба? У нас большая библиотека, тысяч двадцать томов. Жена всю современную литературу покупает и читает. Но чтобы встретить что-то на уровне открытий или духовной сопряженности с тем, что читаешь, за чем хотелось бы потянуться, такого нет. Последним произведением такого масштаба был роман Л.Леонова "Пирамида". Может, это я постарел и стал другим. Вполне вероятно. Просто я не задумываюсь над вопросом "почему?". Но, конечно, хотелось бы видеть людей, которые генерировали бы идеи и были бы бесспорными авторитетами в каких-то вопросах. Хотелось бы знать, что есть люди, готовые отстаивать свои убеждения, грубо говоря, вплоть до плахи, до костра — из тех, что становятся моральными лидерами. У нас же многие еще находятся в стадии интереса, но никак не убеждения. Отсюда зыбкость вектора общественно-политического развития страны — не развернется ли? Идеи могут стать незыблемыми ценностями — другого пути я не вижу. Вот у Энгельса написано, что развить теоретическое мышление можно, только изучая историю философии. Он как бы рекомендует, каким образом теоретическое мышление, которое дано каждому из нас в виде способностей, можно актуализировать в виде реальной возможности: изучай историю философии, то есть знакомься с идеями, сопоставляй... Россия, я считаю, очень способная страна, и я не вижу причин, почему бы наши способности не превратить в возможности.

— *И что впереди? У нас, у страны?*

— Все как у Галича: "Все шло по плану, но немного наспех".

Очень сложен процесс адаптации к условиям неопределенности. Это самое тяжелое. Неопределенность сводит с

ума, что показали еще Достоевский и Кафка. Тут и вопрос о патернализме, и о потребности в "сильной руке". Глобализация и конкуренция будут заставлять людей как-то привыкать к тому, что вполне реально работать в три раза больше и больше зарабатывать. В исторических масштабах такой процесс в России происходит. Думаю, 25-30 процентов людей это уже ощущают. Так что мы довольно быстрыми темпами входим в мировую систему. Вектор развития понятен. Он будет таким, какого требуют развитие производительных сил, бизнеса, капитала, экспансия этого капитала, которые приносят нововведения. Нововведения — очень важный фактор, в том числе и в идеологии, для распространения комплекса идей (мы с вами об этом говорили). Тут надо работать целенаправленно.

Вот вы подготовили книгу, но если посчитаете, что опубликуете ее и на этом все закончили — нет. На базе этой книги надо организовывать семинары, публикации, выступать по телевидению, по радио. Если сформируется комплекс идей фундаментальной важности (их не может быть много), их надо донести до большего числа людей, чтобы тем самым оказать воздействие на интеллектуальную, духовную среду страны, на формирование этих ценностей как потребностей. Потребностей свободы, дискуссии, плюрализма и на этой основе — счастливой, нормальной жизни.

## Об авторах

**Алхазуров Магомед Исаевич** (р. 1973)

окончил Грозненский нефтяной институт по специальности горный инженер-нефтяник. После учебы в Российской академии государственной службы — менеджер государственного и муниципального управления; в настоящее время — аспирант этой академии. Возглавляет общественные организации "Национальный совет молодежных объединений Кавказа" и "Ассамблея народов Чеченской Республики".

**Ашкерев Андрей Юрьевич** (р.1975) — окончил философский факультет Московского государственного университета, кандидат политических наук, руководитель образовательной программы "Философия политики и властных отношений" философского факультета МГУ, главный редактор журнала "Платное образование".

**Васильев Сергей Александрович** (р.1957) — окончил экономический факультет Ленинградского финансово-экономического института, доктор экономических наук, профессор. Член Совета Федерации, председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению.

**Гавриленков Евгений Евгеньевич** (р.1955) — окончил факультет прикладной математики Московского авиационного института, кандидат технических наук, профессор. Главный экономист, управляющий директор ИК "Тройка Диалог", проректор Государственного университета Высшей школы экономики.

**Гордон Александр Гарриевич** (р.1964) — окончил Театральное училище им.Щукина. Занят в сфере театра, кино, телевидения; в 1989-1997 годах работал в США. Одним из наиболее заметных проектов как телеведущего стала научно-познавательная программа "Гордон".

**Захаров Сергей Владимирович** (р.1959) — окончил Московский экономико-статистический институт, кандидат экономических наук. Заведующий лабораторией анализа и прогнозирования воспроизводства населения Центра демографии и экологии

человека при Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

**Кравец Сергей Леонидович** (р. 1962) — окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Руководитель церковно-научного центра "Православная энциклопедия", ответственный редактор издания "Большая Российская энциклопедия".

**Кураев Андрей Вячеславович** (р.1963) — окончил философский факультет Московского государственного университета, Московскую духовную семинарию, Бухарестский богословский институт, Московскую духовную академию. Кандидат философских наук, профессор богословия. Дьякон. Преподает на философском факультете МГУ.

**Леденева Алена Валерьевна** (р.1964) — окончила экономический факультет Новосибирского государственного университета, PhD. Научный сотрудник Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета.

**Малева Татьяна Михайловна** (р.1957) — окончила экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук. Директор Независимого института социальной политики.

**Маховская Ольга Ивановна** (р.1963) — окончила психологический факультет Харьковского государственного университета, кандидат психологических наук. Старший научный сотрудник Института психологии РАН.

**Мкртчян Никита Владимирович** (р.1971) — окончил географический факультет Московского государственного педагогического института, кандидат географических наук. Старший научный сотрудник Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, заместитель главного редактора журнала "Демоскоп Weekly".

**Недорослев Сергей Георгиевич** (р.1963) — окончил физический факультет Алтайского государственного университета, председатель совета директоров группы компаний "КАСКОЛ".

**Ремизов Михаил Витальевич** (р.1978) — окончил философский факультет Московского государственного университета, директор информационных проектов Института национальной стратегии, главный редактор веб-издания "АПН".

**Ремчуков Константин Вадимович** (р.1954) — окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов, кандидат



экономических наук, профессор, помощник министра экономического развития и торговли.

**Рыжков Владимир Александрович** (р.1966) — окончил исторический факультет Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук. Депутат Государственной думы.

**Согомонов Александр Юрьевич** (р.1959) — окончил историко-филологический факультет Владимирского государственного педагогического института, кандидат исторических наук. Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.

**Филиппов Александр Фридрихович** (р.1958) — окончил философский факультет Московского государственного университета, доктор социологических наук. Заведующий кафедрой практической философии философского факультета Государственного университета — Высшей школы экономики, руководитель Центра фундаментальной социологии, главный редактор электронного журнала "Социологическое обозрение".

**Черныш Михаил Федорович** (р.1955) — окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, исполнительный директор научного центра "Социоэкспресс".

**Шмелев Владимир Алексеевич** (р.1980) — окончил факультет теоретической и прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, аспирант Института русского языка РАН, депутат Муниципального собрания "Хорошевское" г. Москвы, руководитель общероссийского общественного движения "Первое свободное поколение", председатель правления партии "Новые правые".

#### Авторы и исполнители проекта

**Волков Александр Иванович**, доктор исторических наук.

**Пугачева Марина Геннадиевна**, старший научный сотрудник Института социологии РАН.